

ИЛЛЯ ЭРЕНБУРГ



УСПОВНЬЕ
СТРАДАННЯ

ЗАВСЕГДАТАЯ

КАФЭ

„НОВАЯ ЖИЗНЬ“

1926

Scriptorium



**Илья
ЭРЕНБУРГ**

**УСЛОВНЫЕ СТРАДАНИЯ
ЗАВСЕГДАТАЯ КАФЕ**

Salamandra P.V.V.

Эренбург И. Г.

Условные страдания завсегдатая кафе. — Б. м.: Salamandra P.V.V., 2022. — 140 с., илл. — (Scriptorium).

«Он может жить без кофе, но не может — без кафе...» Так писал об И. Эренбурге в 1927 г. Роман Гуль. В книгу вошел цикл новелл Эренбурга «Условные страдания завсегдатая кафе», единственный раз опубликованный при жизни автора в 1926 г., а также исключенная в то время из цикла по неизвестной причине новелла «Свидание друзей». Издание дополнено другими «кафейными» текстами И. Эренбурга, рецензиями и справочными материалами.

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ



УСЛОВНЫЕ
СТРАДАНИЯ

ЗАВСЕГДАТАЯ

КАФЭ

Н. С. П.
„НОВАЯ ЖИЗНЬ“

1926

УСЛОВНЫЕ СТРАДАНИЯ ЗАВСЕГДАТАЯ КАФЕ

*«Они были неживыми, но они
передвигались, они пили вино, они
пробовали даже улыбаться. Это
зрелище стоило мне десяти экю
и жизни».*

Жан де-Бовэ.

КАФЕ «ЛЯ БУРС».

— Закупите 280 «Мехико-Платина».

— Повысились на два пункта — 320.

— Все равно, закупите.

— Выкинута новая партия.

— Ха-ха! Понос после газетной касторки. Великолепно.

Закупите.

— 328.

— Закупите.

— 385.

Как конфузился среди этих цифр простой стакан кофе! Он не подымался, не падал, он скромно стоял: он стоил один франк сегодня, вчера, завтра, декоративный стакан, не напиток — билет, дающий право оставаться здесь, в засаде, среди зеркал и котелков. Даже судьба родителей не могла потрясти этот франковый кофе. «Бразиль Феникс» — 508. Ветер, выдыхаемый маклерами, полный никотина и гнили зубов, пробирал купы кофейных плантаций, где бронза умиравших мулатов становилась зерном бессонницы и очарования. Мильрейсы легко переходили во франки, не зная границ, как фильмы и как поцелуи. 300 тысяч деревьев. 508 — курс дня. М-г Делез способен был разбогатеть. Он был способен также разориться. Мулаты же равнодушно умирали. Кабли и трюмы транспортов заполнялись кофе. Только стакан, ублюдок, дурак styl в стороне.

Впрочем, кому какое дело до кофе? Бывают псевдонимы, кафе без кофе, кафе с акциями кофе, как с акциями цемента, платины, железных дорог, фосфата, банков, нефти, кинофабрик, хлопка. Конденсированный мир, абстракция, материи, доведенные до названий и цифр. Нефть несется по кабелям. Электрические волны, насыщенные цементом, давят на приемник. В раковину уха телефон сыпает хлопков. Многие тысячи километров железной дороги «Канада-Пасифик», с пшеницей, с буйволами, снегами, небоскребами, с фигурантами фильм и с сифилитическими индейцами,

легко умещаются в маленьком кафе «Ля Бурс».

Декорация заурядна. Сто стаканов кофе. Вкус его неизвестен. Может быть, это просто окрашенная вода, может быть, яд. Хриплый с детства оракул (радиоприемник). Листки. Перья. Телефоны. Потные донышки котелков. Сто тростей, этих жезлов Моисея, тщетно пытавшихся рассечь нефтяные воды «Ойль-Треста». Треск чековых книжек. Поздравленья наспех, когда две склизкие руки рыбами бьются одна в другой. Иногда слезы в уборной. Лакеи, также презирующие кофе и обращающие чаевые в мелкие акции подозрительного «Конго-Ивуар». Дрянное кафе! Однако — делопроизводство планеты. «Суэц 9450». Мистер Макдональд послуш либо вынимает из карманчика стилу «Сван» и подписывает ноту о Заглул-Паше. В Судане английские митральезы повторяют деликатный жест премьера. Пусть «Лига Прав» протестует. Наместник Мартиники не хочет считаться с декларацией 93-го года. Ах, пусть протестует! Пусть! «Пуант а Питр» растет. 4825. Засим всем предоставляется право умирать, даже кофейным мулатам.

Но что было с «Мехико-Платиной?» Выбрасывали? Скупали? «Этуаль Бельж» писала — крах. Обозреватель «Суар» усмехался — мистификация. 215? Это в одиннадцать. А в три доходили до 365. День платины. Какая она с виду? Кажется, серая, вроде серебра. Кому она нужна? Глупые вопросы. В кафе «Ля Бурс» не было серого металла, не было Мексики. Цифры. И цифры метались. Малярия. Растерянность котелков. Изнеможение. Борьба.

В углу возле кассы сидел один из борцов, не в трико, нет, не в трико, в английском коверкоте, поميلуйте, какое же трико — это кавалер «ордена Леопольда», председатель Торговой Палаты Икселя, М-г Огюст Терлинк. Тяжело дыша, но сохраняя вдохновенную улыбку Микель-Анджело, он борется с грузным корпусом Биржи, с бетонным Голиафом, с крысиным копошением многих тростей, с телефонным улюлюканием, с информацией «Этуаль Бельж», если угодно, с миром. Самопишущее перо заменяло пращу.

— 365? Все равно. Закупите.

Его не обмахивали манажеры, не массировали, не натирали спиртом. Только порхание юрких маклеров, принимавших приказы и обращавших движение пера в многоголовый гам биржевых лестниц, в кривую курсов — несколько смягчало жестокость облика. Вялый блин лица (из тех, что первые, из тех, что «комом»), редкая щетина волос, лишенная окраски, воротничок № 43, лужицы глаз, котелок — кто прельстится подобной моделью? Дух, однако, имелся, он витал над котелком, он трепетал бумажными крылышками. Духа звали Пьером Моккелем. Официально он числился секретарем m-г Огюста Терлинка, но сухость терминов не передает подлинных функций. Флюиды бодрости исходили от пестренького галстука. Голос покрывал визг ста телефонов. Хитро мигавшие уши являлись антеннами, улавливая каждый перебой парижской или лондонской бирж. Секретарь поддерживал душу кавалера «Ордена Леопольда», готовую склониться под улюлюканием кафе «Ля Бурс». Ведь даже стаканы кофе, эти презренные статисты, и те удивленно дребезжали — «как? Огюст Терлинк скупает акции «Мехико-Платины?» Но ведь приисков нет — генерал Гондурас, наемник Хуерто, уничтожил начисто прииски. Анархия. Гибель. Бумаги слетели с небоскреба нью-йоркской биржи. Завтра они не будут котироваться. Это вроде русских займов. Стефан Терлинк, хоть молодой, но мудрый Стефан Терлинк выкидывает акции «Мехико-Платина». Он выкидывает их, как окурки из пепельницы, как корки апельсина; как немецкие биллионы, как цидульки любовниц — быстро, деловито, за пачкой пачку. А его старший брат, кавалер ордена, председатель палаты, вытаскивает все сбережения, закладывает безупречные «Суэц» (сегодня 9450), краснеет и надрывается, закупаая эти бумажонки, перечеркнутые кровью бродяги Гондураса. Почему? Огюст? Как? Ах! Да, даже стаканы изумлялись.

Но m-г Огюст Терлинк, между двумя плевками распоряжений, одаривал мир гримасой розовых, как чайная колбаса, губ. Гондурас? Гондурас рожден гениальным поэтом Пьером Моккелем, рожден вчера ночью, сразу, с шляпой ковбоя, с интригами Хуерты, с анархией. Тсс!.. Но никакого Гон-

дураса нет. Есть миф и скупка акций. Телеграммы из Мексики и Лондона составлены наспех секретарем m-г Огюста Терлинка. Каждое слово стоило не менее ста франков. Обозреватель «Этуаль Бельж» купит себе хороший велосипед. Ах, этот добрый дядя Гондурас накормит многих! Прежде всего самого Огюста Терлинка. Речь идет, конечно, не о фазанах, даже не о велосипеде. Здесь замешано сердце. Если ставка — Мехико и платина, то выигрыш — Ао, индуска из мюзик-холла, которая целует змей и молчит. Ао, длиннолицая Ао, цвета грозовой зари, с грудью смуглой и грустной, как оплаканная айва Эдема, любовница Стефана Терлинка. Ао! Захватывая клоки акций «Мехико-Платина», Огюст как бы приближал к своим одутловатым сметанным щекам эти плоды Бирама. Генерал Гондурас, выдуманный генерал, в мечтах заливавший кровью экранные пампасы, незримый предводитель потных маклеров, завоевывал для кавалера «ордена Леопольда» немую индуску Ао.

Так думал m-г Огюст Терлинк. Он был спокоен, как кинорежиссер, организовавший светопреставление. Когда же дрожь курсов невольно заражала сердце, когда Гондурас обрастал жарким мясом бандита, справедливо прославленный голос секретаря справкой о десятке вновь смастеренных каблогграмм немедленно восстанавливал нормальную пульсацию.

Бой требовал не только отваги, но и хитроумия, наигранной апатии, замираний, летаргии, чуть ли не смерти. Поспешность первичных движений отделила загадочные плоды Ао. В течение одного часа агонизировавшие были акции «Мехико-Платина» опомнились, даже попробовали чопорно дуться. Мелок вывел «385». Тогда m-г Огюст Терлинк сходил. Он притворился, что груди ему вовсе не нужны. Мало ли девушек в Брюсселе? Стая маклеров замерла. Рты наполнились вместо цифр бутербродами. Как окоп перед атакой, затихло кафе «Ля Бурс». Среди тишины грузно скрипело сердце кавалера ордена. Каждая минута выдержки — преодоление маленького раздела циферблата, приносила тысячи франков. Шприц с камфорой отсутствовал, и «Мехико-Платина» публично умирали. Они еле корчились. Услышав «180»,

м-г Огюст Терлинк все же не выдержал. Смутная теплота айвы ощущалась на губах, как память о майском ливне. Он привстал:

— Закупите 120 по 180.

Он считал себя выигравшим Марну. Предчувствовались салюты пробками «экстра-сек», иллюминация глаз. Жаль, что несуществующий генерал Гондурас лишен груди для ношения ордена (хотя бы Леопольда). Его долю получит духовный родитель, пройдоха Моккель: на смокинг, на девочек, на веселье и на тоску, на тоску по индусской темноте, доставшейся хозяину.

Вновь визжали маклера, архангелом светопредставления лаял телефон и где-то волны радио несли — «180» — «185» — «190» — курсы «Мехико-Платины», анархию, мистификацию, панику, все это обращавшееся в невинное чирканье электрической канарейки.

В 15 метрах от победителя сидел побежденный. То же кафе. Те же повадки. Разительней — та же водянистость глаз, неизменно отражающих меланхоличное небо Фландрии и призрачный бег котировок. Разительней — то же имя Терлинк, Терлинк — младший, Стефан Терлинк, тот, чья мудрость оценена даже стеклянными париями, тот, у кого выдуманная индуска из мюзик-холла. Почему полицейский-циклист, этот ангел протоколов и бесшумных шин, не подлетел к Огюсту: «Каин, Каин!..» (Ведь полицейские изучают закон божий). Ха-ха-ха! Дурак Стефан! Он поверил в генерала Гондураса. Он не подумал, что анархия и крах это литературные приемы Моккеля. Он выкинул все акции «Мехико-Платины». Как творец — звезды, как обманутая жена — слезы, швырял он на потный мрамор кофейных столиков дивиденды, счастье, серые слитки глубоко условного металла. Мало сказать «дурак». Следует вспомнить блаженную улыбку фанатиков Монте-Карло, этих умалишенных, сочиняющих системы — мозг полный логарифмов ждет пули. Ведь Стефан улыбался. Да, да, продав пять шестых «Мехико-Платины» (вчера еще 405) по 280, даже по 200, по 180, он все же ухитрялся улыбаться улыбкой, сходной с улыбкой Огюста Терлинка, как две тысячефранковых ассигна-

ции. Уничтоженный, лежа на лопатках, он видимо считал себя победителем. Что это? Толстовство в кафе «Ля Бурс» или проще — душевное заболевание? Получая эту улыбку, размноженную зеркалами, Огюст едва сдерживался, чтобы не крикнуть: «баран, ведь Гондураса нет». Разумеется, он этого не делал. Ведь еще оставалось скупить 1/6, далее — приличие, кавалер ордена, наконец, родство, брат, Терлинки, покойная матушка, любившая вертеть кофейную мельницу. К тому же в сложных лабиринтах зеркал, в различных повторяемых плоскостях полных пыли, глубины и головокружения, Огюст искал не глупую улыбку брата, но раковину, дно, определяемое лотом сердца — грудь Ао.

Он видел ее. Он ее не видел. «195» выводило перо: это, повторяя приемы соперника, Стефан крепился, надвигая котелок на глаза, прерывая продажу. «205». Огюст искал Ао. На перепутанной карте зеркал Индия значилась везде и нигде. Долготы перемещались. Руки маклеров и рекламы сигар «Нерон» (римский профиль с хорошей гаваной) перебивали рейсы глаз. Наконец, он определил ее местонахождение — как всегда, рядом со Стефаном. Молчит. Слоновый тысячелетний сон. Может быть, ласкает струю сигарного дыма, выходящую изо рта римлянина, как загнипотизированного вечностью и сытостью питона. Ао! — Огюст ее заработал.

Обвал газетчиков, напугав пыль и стаканы, донес до кафе запах краски, дрожь проводов: в Нью-Йорке «Мехико-Платина» лежали истоптанные, как вчерашние бутоньерки на полу бара, — паритет 70-72. Стефан нашел паузу слишком разорительной хотя бы для сердечной мышцы. Последняя шестая была запущена. «190». Моккель нашептывал Огюсту:

— На Нью-Йорк не обращать внимания. Обошлось всего 600 франков — двум репортерам. 190.

— Закупите.

Горячесть Ао, процеживаемая сквозь зеркала и сны, как процеживается солнце сквозь безвоздушность пространств, обагряла щеки Огюста. Нужно вспомнить пьяных фавнов Рубенса, слезливую воспаленность бычьих глаз, сумасшед-

шую опару грудей и животов, порции брюссельских ресторатов, мясо, бюсты торговков, крепкое мутное пиво «Гез-Ламбик», пуховики, католический мазохизм, обжорство, монастыри, боксерские рукавицы, Метерлинка, его же «Синюю птицу», в виде утки с обязательной репой на свадьбах, количество банков и харчевень, где день и ночь бурлит сало котлов, нужно вспомнить все это, чтобы понять безрассудство белобрысой, рыхлой фламандской любви — (такой нигде нет). «Закупите» было лишь прихотливым спряжением явно неправильного глагола, выражающего любовь. Если есть где-нибудь вне кафе «Ля Бурс» подлинная Мексика, не биржевая мистификация, не трюк кинорежиссера, наверное, нож в зубах и вздутость жил заменяют там сложный лексикон подобных изъяснений. Ао, это твои груди, айва дервишей и обезьян, котировались наравне с «Конго-Ивуар» и с «Канада-Пасифик». От сухости губ, от их невыносимой горячести поцелуи росли в цене, бесился мелок, ахали стаканы и добросовестно потели маклера, эти телефоны в штiblетах, промышляющие не груди индуски, не платину, даже не акции, а мелочь комиссионных, новый котелок, свинину с бобами, теплый окорок фламандской девки, распродающей под утро остатки ласк.

(Так оправдывался город, известный помимо того лишь Манекен-писсом и вареными раковинами. От капусты, от кружев остались прилагательные. Реклама наносных войн или универсальная хлопотливость Вандервельде не спасают от забывтья. Зато дрожь стаканов кафе «Ля Бурс» передается во все концы света. Бой за груди Ао, описанный выше, искажил многие лица Сити, Унтер-ден-Линдена, даже Волстрита. Что означала пляска значков? Смерть «Мехико-Платина» или ловкий прием платинового треста Иоганнисбурга?)

Огюст победил. 15 метров, отделявшие его от брата, повторяли въезд короля Альберта в Брюссель. Он ступал медленно, как дитя сосет леденец. Пусть вместо виватов его обдает изумление глаз и зеркал. Гондурас? Гондураса нет. Теперь, когда операция закончена, можно сказать об этом открыто. Есть глупый Стефан, спустивший акции за восемь-

десять пять тысяч, акции, которым цена свыше шестисот. Ясно? Есть Огюст, умница Огюст, кавалер ордена, председатель палаты. Полмиллиона он заработал, помахивая пером над франковым стаканом кофе. Есть еще Ао, не человек, но — платина, акции, дивиденд.

— Слушай, Стефан, отдай мне Ао.

Молчание.

— Ты потерял около полумиллиона. Я знаю, у тебя ум, у тебя крупный ум, что говорить — наш ум, Терликов. С ним ты не пропадешь. Но тебе, наверное, сейчас нужны деньги. Отдай мне Ао.

Молчание.

— Ты упрямисься. Я знаю это упрямство — наше упрямство, Терликов. Я тоже упрям. Я хочу Ао. Я мог бы просто сманить ее, как кошку. Но мы — братья. Мы не должны обманывать друг друга. Сколько ты хочешь за нее?

Стефан Терлинок продолжал молчать. Молчала и Ао. Она глядела в глубь зеркал, где помимо затылков и тростей тихо вился дым сигар фабрики «Нерон». Вероятно, она играла с этим ленивым питоном из мюзик-холла. Котировка сердца Ао ее не интересовала.

— Акции — хочешь акции? У меня нет свободных денег. Десять тысяч — мелочь. Остальное все «Мехико-Платина». Я дам тебе сто акций. Стоит ли этого женщина из мюзик-холла? Она не умеет разговаривать. Она не умеет даже носить шляпу. Это мое упрямство, наше, Терликов — хочу ее. 100 акций. Завтра они будут по 500. Ведь знаешь, Стефан... Братья могут между собой говорить откровенно. Его нет. Ты слышишь меня, его нет.

Стефан усмехнулся.

— Мы воспитаны в доброй католической семье. Как же ты можешь сомневаться в его существовании?..

— О, Стефан!.. Ты шутишь. Разумеется, он существует. Это знают все. Но я говорю о другом. Я говорю о Гондурасе. Его нет, Стефан.

Они не только умны, не только упрямы, эти Терлики, они и скрытны, как восковые жуиры ортопедических магазинов, которые улыбаются в окнах, не показывая никому

своей тоски о потерянной ноге. «Гондураса нет!» — ведь при этих словах Стефан Терлинк должен был закричать, заплакать, ударить Каина (так и не пристыженного ангелом-цикlistом).

Однако, он сохранил усмешку теологического диспута. Столь же лениво он проворчал:

— Хорошо. Бери ее. Она мне не нужна. Дай мне десять тысяч — пригодится на папиросы. Кстати, хочешь закурить? Акций я не возьму. Зачем мне грабить тебя? Ты правду сказал, Огюст, мы братья, мы — Терлинки, мы должны помогать друг другу...

Был поздний час сумерек, свиданий возле остановок трамвая, газеты «Суар», результатов скачек, железных век, закрывающих воспаленные глаза модных витрин, час кухонных запахов, неуверенной походки и любви. Кафе «Ля Бурс» быстро опорожнилось. Маклера уже обвязывались салфетками перед честно заслуженной свининой. Получив десять тысяч, ушел и Стефан Терлинк, потерявший вместе с платиной печальные плоды Бирама. Огюст заказал бутылку шампанского. Два стакана.

— За мечту поэта, за неродившегося генерала Гондураса! За мой ум и за сердце брата Стефана, за твои смуглые груди, за приманку змей и Терлинков, за твое молчание, Ао!

Индуска не задела бокала. Ее уши, раковины, заполненные гулом воды и лет, чуждались тостов. Кто с ней рядом? — не все ли равно? Она отдавала тепло и тоску, повидимому, питону. Она была положена, как ценная покупка в «Ройл-Рольс» m-г Огюста Терлинка, и, задыхаясь от страсти, мотор понесся к полному Эдему, к Эдему номеров, штор и кушеток, где плоды Ао могли качаться до утра, среди пения ключей и змеиного шепота коридорных.

Как всегда, Огюст Терлинк направился в кафе «Ля Бурс», отмеченный приметам избраннычества: булавкой галстука (11 каратов, редкостная игра), ленточкой ордена «Леопольд», титулом председателя торговой палаты. На зависть Стефану он взял и Ао, как булавку, как орден — пусть все видят. Когда завертелись зеркала дверей, этот лабиринт стек-

ла и отчаянья, индуска нырнула в глубину, где годами скопляются дым, тусклое посвечиванье, похотливые потягиванья питона.

— Крах «Мехико-Платины». Нью-Йорк паритет 40. Здесь в 10 — 56, в 11 — 34.

Искусство — велики его чары, игра 11 каратов, красота незримых грудей Ао (он и ночью не увидел их — свет был придушен, змея корчилась на предполагаемых бегониях ковра), выдумки Пьера Моккеля! Значит, весь мир уверовал в сеньора Гондураса. Однако, будет! Теперь это ненужно. Теперь это даже вредно.

М-г Огюст Терлинк подманил секретаря.

— Дайте опровержение. Пора ликвидировать.

Пьер Моккель, дух, которому надлежало бесплотно витать над хозяйской опарой, подозрительно улыбнулся:

— К сожалению, это невозможно, м-г Терлинк.

— То есть, как это «невозможно»? Черт побери! Мы его выдумали, мы его и прикончим. Ведь Гондурас...

Сладко, наподобие иезуита, доказывающего зябкому отроку существование Люцифера, секретарь подобрал глагол:

— ...Существует.

Жив ли м-г Огюст Терлинк? Где он? Стаканы? Кафе «Ля Бурс»? Кавалер ордена? Может быть, все это сон, дрожь Ао среди черноты и бегоний, Индия змей и горчичного зерна, воспаление мозга, 41 градус, конец света? Отчаянно метнулся фламандский бак, ужаленный сомнением, к рупору радиоприемника. Ухо зачерпнуло голоса вселенной. «Ойль-Трест» продолжал властвовать. В Загребе — аресты. «Марокко» — 318! Волнения в Дамаске. Доллар в Париже — 19,41. План Дауэса. «Паун а Питр» понизились да три пункта. Финансовая реформа в Австрии. Генерал Гондурас...

Стоп! Молчите, болтливые кумушки четырех материков! Зачем только для ваших пересудов выдумали эту электрическую трещотку? Огюст шатается. Огюст хватает стакан кофе, презренный стакан, наконец-то признанный. Дальше!..

«Генерал Гондурас получил подкрепления. Интриги Вашингтона».

«Иоганнисбург» — в сильном повышении. «Мехико-Платина» сегодня не котировались.

«Miserere! Miserere!» несут волны радио. Здесь все звуки — перебои сердца, хрип агонии, отходные молитвы, молоток гробовщика, заступ могильщика, перо нотариуса. Тише! Если существует генерал Гондурас, m-г Огюст Терлинк не может существовать. Раздел между реальностью и сном омыт. Состояние проиграно. Это ликвидация председателя торговой палаты Икселя.

Грузно высморкавшись, Огюст подошел к Стефану. Они поменялись ролями — Каин стал Авелем, с раной в груди — акции «Мехико-Платины». (Ангел-циклист все не показывался).

— Ты перехитрил меня, Стефан. Ты узнал, что Гондурас существует. Ты захотел спустить ничего не стоящие акции. Ты выбрал для этого моего секретаря. Ты внушил мне, что правда — это вымысел.

— Зачем горячиться? Ведь ты хотел внушить мне, что вымысел это правда. Мы оба правы. Кто знает, где жизнь и где сон? Может быть, Гондурас появился после того, как ты решил его выдумать?..

— Молчи! Я еще не сошел с ума. Я не хочу сойти с ума. Отдай мне хоть 10 тысяч!

— Мы в расчете. Ты взял Ао.

Грудь индуски выступили из омута зеркал. Огюст задумался. Может быть, не все потеряно в этой мене? Бросить акции и палату Икселя, забыть о кафе «Ля Бурс», окунуться в темноту ночей, где ковры, змеи, прорастание зерен и гул тысячелетий?

— Да, мы в расчете. Я тебя презираю, Стефан. Ты продал мне любовь, ты продал мне грудь Ао, как будто это акции фосфата или нефти.

Тогда Стефан Терлинк не на шутку обиделся. Торговля — благородное дело. Качество товара не может унижить негодянта. Как смеет этот продувшийся плут оскорблять его?

— Любовь? Гм... А скажи мне кстати, счастливый Огюст, ночью она погасила свет? Не правда ли, она обязательно хотела погасить свет? Ты ничего не отвечаешь. Ты думаешь,

что я вмешиваюсь в твою интимную жизнь. О, нет... Я только предупреждаю. Ее нельзя ласкать. Я возил ее с собой, как амулет. Она мне помогала в биржевой игре. Но я никогда до нее не дотрагивался. Ее левая грудь помечена белым узором. Это очень красиво. Но братья могут говорить между собой откровенно. Она больна, Огюст. Тропические язвы. Это так же верно, как гибель приисков «Мехико-Платины».

Кафе «Ля Бурс» было переполнено. Агония кавалера «ордена Леопольда», однако, никого не заинтересовала. Котелки жили Данцигом. «Заем 169». «Нет, 174». Заем метался. «Конфликт с Польшей из-за почтовых отделений». «Вмешательство Лиги Наций». «178». «Англия за Данциг». «181». «В палате общин»... «Сколько?» «179».

— Закупите.

Это исходило не от Огюста Терлинка. Задолго до урочного часа старожил зеркальных пуц прошел к дверям. Он исправно сгибал ноги в коленях. Он даже дотрагивался учтиво до котелка. Манекен ортопедии с искусственным сердцем нес 11 каратов и смуглую грудь, расшитую язвой, к автомобилю «Ройл-Рольс». На вопрос шофера он спокойно ответил:

— Сначала в оружейный магазин. Потом прямо в морг.

Шофер не удивился. Шофер не смел удивляться. Лицо его, как циферблат, выражало лишь скорость передвижения, километры и часы. Скажи m-г Терлинк «в рай», он нашел бы путь к тяжелым и вязким, как снег, облакам, где (заря грозы) качается унылая айва Эдема.

В морг! Прямо в морг!

Редкие прохожие окраинных улиц, на которых бурлит любовь борделей и сало жареных кишек, может быть выдали, как туз брюссельской биржи играл револьвером, целовал напоследок левую грудь индуски из мюзик-холла.

«ПТИ-ТЕРЕМОК».

Взятые порознь и солнце и лампа полны оптимизма. На первом не приходится настаивать: все звуки, от невыносимого павлиньего крика, рождаемого бравурной раскраской, до разучиваемой холодненькими пальчиками белобрысой школьницы мажорной гаммы, входят в солнечную систему. Лампа же родила семейное право и сорок томов Чарльза Диккенса. Но там, где происходит смешение разнородных светов, человеческое естество неизменно никнет и отмирает. Как страшна утром забытая свеча ночного столика, рядом с уродливой смятостью подушек и с деловым гляncем навакшенных зарею штиблет! Стыдливая до пропадания, среди объективности огромного космоса она мучительно агонизирует. Беда в сумерки, не заколотив плотно окон, за которыми еще корчится издыхающий свет, накликать электрический вымысел. Это — сквозняк двух враждующих светов, точность шестнадцатисвечного логоса, несовместимого с кудлатой псиной дня. Нерасчесываемый колтун человеческой совести лезет под руку. Различные вокзалы оголтелостью носильщиков и катастрофическими гудками подманивают вечно опаздывающих. Шаги из угла в угол измеряют уже не метры жилищной площади, а года.

Но всего опасней впустить утренний свет в налаженный за ночь иной мир, в это второе и очищенное построение дворца набоба для сенсационной фильмы «Патэ» или «Уфы». Будь то керосиновый мед старых авторов, газ — эта романтика падали и луны, наконец, конструктивное электричество американских кресел, реклам ликера «Кордьаль-Медок» или планов инженера Кржиновского, искусственный свет равно далек от теплого сырья человеческих чувств. Слезы подозрительно сбиваются на трели колоратуры, а крик, казалось бы звериный, среди банного пара бедер и клятв, с необычайной легкостью переходит в занятную рифму. Это мир чисел, заносимых мелком на изумруд ломберных столиков, абстрактные формулы виртуозных губ, до рассвета

не прекращающих своих загадочных и точных, как ход приводного ремня, перемещений. Сколько крови уделяет солнце августа паразитическим вьюнам Шампани, чтобы золотое задыхание бешеных бутылок помогло смещенному разуму найти четвертое измерение для сомнительных мизансцен любви, азарта, мелкотравчатого героизма!

Крушения приключаются ежедневно. Срок их может быть с точностью установлен при помощи любого календаря, где проставлены часы восхода солнца, катастрофы многих добросовестных романов, рассчитанных, если и не на увеличение рождаемости, то на два, на три года одухотворенных соитий. Лакеи, эти профессора экспериментальной психологии, хорошо знают действие обыкновенного, вдоволь серого света. До поры, до времени с помощью щитов и портьер держат его взаперти, как банки, клейменные черепахи, в заветном шкапу аптекаря, чтобы потом, вовсе неожиданно, выплеснуть эту кислоту на рыхлые лица замешкавшихся амфибий. Жестокость подобной расправы разительна. Залитые вином скатерти колеблются между операционным столом и хлебом мифически уродливых, но водящихся в нашем климате, свиней (вероятно, из Калифорнии или из кошмаров неварящего желудка). Зеркала завершают дело. Происходит настоящее ясновидение: десять лет вперед — как на ладони. Они в серой мякоти щек, в невыразительной слизи глаз, в черной протухлости, избежавших селитры колбасника, губ. Человеческая жизнь валяется на полу, среди окурков, пробок, обстреливавших Орион или Сириус, раздавленных камелий, сверхреальных чувств, среди звуков оттанцованных фокстротов, среди стихов в прозе, под двойным светом еще не приконченной люстры и болтающегося на пуповине дня.

День. Иголки профессиональных танцовщиц могут штопать лопнувшие чулки и души, садоводства — заботиться о партиях заказанных к вечеру бегоний или орхидей. Тошнота же совпадает со смещением светов. Поднятие углекислоты «экстра-дри» и раскаяния к горлу. Первые черновые мысли о самоубийстве, которые переписываются набело лишь агонией (вполне естественной после воспаления легких или

болезни печени). Паника, хоть пожарные краны бездействуют.

Так было и в модном притоне «Пти-Теремок». Бывший штабс-капитан Иван Александрович Ширяев, гарсон столов 12-19, «Жан» буфетчицы, консервирующей среди блюдец и лимонов водянистые груди, долго колебался — впустить ли? Занятым оставался лишь один столик. Спав до шести, стрелка подсказывала скреб и шамканье за шторами нищего, готового уже охватить окурки и сердца, — какого-нибудь «понедельника» или «вторника». В руках «Жана», знавших многое: кий бильярдной «Ташкент», замшу пикантененькой маникюрщицы, приятный холодок нагана, наконец, тряпку для старательного подтирания мрамора столиков, в этих руках, столь ловких и на устранение чужих жизней и на смахивание чаевых, находились теперь две души.

Столик то и дело отодвигался для нового фокстрота, для запоздалой качки судна уже зашедшего в гавань. Отчаянно мулат дул в саксофон. Право, если б это было в его силах, он побледнел бы, смертельно побледнел бы. Расовые особенности, однако препятствовали. Только ломовой рот возле створок рта демонстрировал изнеможение. Из трубы сыпались ровные комбинации звуков и жестов, движение центральных артерий в любое время дня или ночи, загадки — «слова крестом», ноги крестом, вероятно, и души крестом, если только последние существуют. Зрителей не было (водянистые груди за стойкой текли бесстрастно, как Лета). Удовольствия танцевавшие больше не испытывали — шесть часов беспрестанных содроганий притупили чувствительность. Жизнь сводилась к известным скрещиваниям ног. И если в четверть седьмого фокстрот еще длился — это было не для людей, но для вечности. Профессиональная танцовщица m-elle Шура и ее партнер Джое Сукс, победитель футбольного матча Франция-Уругвай, в крохотном кабачке улицы Пигаль, под внимательным глазом бывшего штабс-капитана, вычерчивали некоторую формулу второй жизни, с ее изъятием матчей, наганов, даже лопнувших чулочек m-elle Шуры.

Вероятно, поэтому гарсон Жан и боялся отдернуть шторы. Уже пыхтели утренние автобусы, под всеми знаками алфавита. Среди иной, хоть и родственной качки, перед зрчками невыспавшихся приказчиков прыгали речи ораторов Лиги Наций и фамилии восьми теплых, как только что выпеченный хлеб, самоубийц.

Можно объяснить напряженность лакея и по-житейски — сколько?.. От иностранца позволительно ожидать многого. Прежде всего нетвердость в валютных выкладках, увеличенная тремя бутылками «Мумма». Далее — широта. Прерии. Разве не получила m-elle Шура мотовского букета из камелий? В воспаленном состоянии Жана чаевые доходили до шестидесяти. Он ждал небольшого поворота указательно-го пальца, этого розового тормоза. Шурка? Шурка молодец!..

(Последнее вызывает недоумение — что за фамильярность? Какая связь между талантливым фокстротом и предполагаемыми чаевыми?)

Джое Сукс, впрочем, согласился бы с оценкой гарсона. Диктуя обороты, полуобороты, импровизированные сокращения, он чувствовал себя героем второго матча. День не прерывал неги. Зловредность света, отделяющего этот диван от подушек автомобиля, легко опускалась. Танец переходил в мягкую дрожь «Испано-Суизы», в приятное ныряние среди прохладной пены простынь. В духовное карне заносилось: русские женщины — маленькая нога — 34-35, татарский темперамент, напоминают охоту на лам возле Амазонки, также запах ладана и пота севильских процессий. Следует поехать в Азию. Почитают ли буддисты футбол? Впрочем, это позднее. Сейчас — «Гранд-Отель». Он уже видел розовый торс русской над фаянсом ванны. Журчали поцелуи пробужденных кранов. Свежесть воды увеличивала чувствительность. Рычаг пальца неожиданно поворачивался в непредвиденную гарсоном сторону, — к ламам и к ладану, то есть к переспевавшим наподобие персиков грудям соседки. Содовая внутри начинала ритуал спортивных омовений. Опущенная психологию и финансы (кто же мог сомневаться в его кредитоспособности? в его душе?), Джое Сукс весело сказал m-elle Шуре:

— Перед тем как лечь, мы съедем омлет и салат из апельсин. Хорошо ?

Повадки! — начать объяснение в любви с омлета! Ведь перед этим о продлении фокстрота не упоминалось. Только шесть часов различных телодвижений. Обиделась? Лайкой перчатки или пахучей кожей банана прошлась по намекающей к утру колючести щек? Это честная женщина! Она танцует. Только танцует. Называемая (для экзотизма) «m-elle Шурой», она замужем. Она не ездит по номерам. Ее ждет супруг. Да, по всем данным ей следовало бы обидеться, унести пятьдесят франков (гонорар за фокстрот) и инюматериковую, откровенно скуластую тоску прочь, если не в Псков (ни денег, ни визы), то хотя бы на улицу Эстрапад, к плечам мужа, хранящим запах банного веника, рябины и романа Чайковского (сквозь подсапывание валика) — «люблю ли тебя, я не знаю»...

Жизнь, однако, делается набившим руку беллетристом. Этот умеет выпустить во время вместо герцога какого-нибудь цирюльника. Нескверная коллекция восклицательных знаков и многоточий. Инерция движений расходилась с логикой. Американец приятно отдавал хинной водой для волос и седлами фильмы. Мускулы его прыгали, как шарики содовой. Фокстрот длился шесть часов. Он длился много больше — вот уже семнадцать месяцев, как m-elle Шура работает в баре «Пти-Теремок». (Кстати, чулки и парфюмерия съедают заработок). 17 месяцев — это ведь около трех тысяч часов качки. Морской волк и тот изумится. Если же не быть педантом, нули часов размножаются. Разве предыдущее: теплушки Кубани, озноб сыпняка, трюм парохода «Святитель», американские консервы, голодные спазмы, игральные колоды ночежек Константинополя — не тот же фокстрот? Сумма механических сокращений и отдач требовала выхода. Согласие m-elle Шуры диктовалось временем. Было ли это деловой надеждой разукрасить улицу Эстрапад тысячефранковым билетом или только утрюмой настойчивостью танца? Тема общедоступна. Есть здесь чем поживиться и социологу и засаленному повару высокотиражных романов.

Но стиль был соблюден. За согласием последовало не соответствующее, хотя бы «лучше бананы, апельсины — кислятина», нет, бессознательно стилизованное, как свидригайловские усмешечки немецких фильм из русского быта, как казачок на улице Пигаль (присоединяя и подхихикивания), как стереотип любовных комплиментов, которыми обмениваются «принцесса де-Трубецки» и «полотер Гришуша»:

— А потом я утоплюсь...

Джое Сукса это не испугало. Это вполне вязалось с фансом ванны и с татарским темпераментом. Притом он отменно нырял. Ассоциации лишь оживили его. Оставалось самое трудное, хоть и простейшее, отделить утро от ночи. Указательный палец стойко произвел эту операцию.

Осторожно извиваясь, бывший штабс-капитан Иван Александрович Ширяев поднес американцу тарелку с нолями. Глаза его разведчиками носились по кубанским степям. Расценивался любой вздох. Ассигнации то казались великими и неделимыми, то жалко ломались, как бывшая империя, обращаясь в мелочь повседневных чаевых. Чорт возьми, неужели и там, в прериях, существует национальная экономика? Неужели 20 или 25?

Шурка — молодец! Шурка — скулы, Азия, простор. Шурка не выдала. На тарелочку, где лежала сдача с тысячи, на эту золотую россыпь мостовой воробьями налетели ее, пусть исколотые иголкой, но прехорошенькие пальчики. Они выделили сотенную бумажку, которая и досталась восхищенному Жану (m-elle Шура твердо помнила, что чулки стоят 35, хоть топить можно и в рваных).

Как сиял штабс-капитан! Он купит перочинный нож и банку сардинок. Все предстоящее — то есть мучительный разрыв штор, автобус «АУ» с восьмью самоубийцами, комната в паршивых «номерах» — каменный пол, мыльный таз, пакля невыметенных женских волос — трансформировалось еще длящейся люстрой. Как никак, а он, потеряв родину, чин, запонки, сберег жену. Это счастье, золотое штабс-капитанское счастье. Ему могут все позавидовать, даже этот двухмерный призрак с экрана, который танцевал фокстрот, глотал слизь устриц, а теперь должен вынести в день, кро-

ме толстого бумажника и широких плеч, свое одиночество. Право же, гарсон столов 12-19 счастливее его.

Гардеробщица неловко подала пальто, и Джое Сукс долго метался, разыскивая рукава. Его движения, жалкие и сугубо трагические, знакомы всем, принужденным возвращаться к полузабытой жизни. Наконец-то! Но в чем дело? Шура тоже одевается? Конечно. Ведь она согласилась. Апельсины или бананы — это выяснится впоследствии. Топить-ся? Тоже потом. А сейчас — лестница, свет, подушки лимузина. Фокстрот еще продолжается.

Что стало с гарсоном? Буфетчица, пересчитывая блюдечки, и та сострадательно сморщилась, как будто проглотила один из окружавших ее лимонов. Где ж оно, скажите, штабс-капитанское счастье? Ведь он так радовался ста франкам...

Отчаянно рука ухватила за кисть штормы, как за черную, нагретую в кармане рукоятку нагана. Сулема быстро выела различные глаза. Курс доллара, чулки m-lle Шуры, грязные плиты улицы Эстрапад, восемь новичков морга — все это заняло место пробок и камелий. Естественным стало самое неправдоподобное. Спасая все, что у него осталось — не упавшую со схода «Святителя», не проигранную в константинопольских ночлежках, розовую, теплую, живую Шуру (не m-lle, просто, ту, что штопает чулки и плачет), бывший штабс-капитан Ширяев подхватил правую ее руку (левой владел нераздельно американец) и, взасос целуя, повторял:

— Шурочка, не нужно!..

Вода Сены, терпеливо принимающая лепестки отцветающих каштанов, также души неудачников, лилась сквозь окна, и, отдернув правую руку от губ гарсона, m-lle Шура шла прямо к ней.

Даже Джое Суке затомился. Правда, он никогда не читал переводов Достоевского. Отчеты о матчах и «слова крестом» уплотняли его досуги. Но он знал, что «такое» существует, как питоны, какрастающие в ладони ногти тибетских отшельников, как большевистские декреты. Он заслони́л свои глаза, будто это автомобильные гонки, дымчатыми очками, очками, только воображаемыми: умиротворяющим туманом сентиментальности. Поковыряв в жилетном кар-

мане, он благодетельствовал отлученного от руки спутницы лакея еще одним стофранковым билетом.

Вместо золотого счастья, в давно уже демобилизованном кулаке бывшего штабс-капитана лежали две бумажки. Люстру же погасить никто не догадался. Смешение светов длилось. Зачем гарсону Жану обслуживать впредь столы 12-19? Ему ненужны больше ни перочинный ножик, ни сардинки. Двести франков он бросил мулату, полумертвому мулату, не способному ни покраснеть от ревности, ни побелеть от смерти. И мулат задул в саксофон. Из трубы посыпались те же абстрагированные сочетания тривиальнейшего фокстрота, но теперь к ним примешивались шаги маклеров, гул автобусов, скрежет касс, лепет гроссбухов, «зеленые бобы» или «сенсационное убийство» продавцов. Поддаваясь настояниям трубы, злосчастный Жан стал бегать в такт, останавливаться при перебоях и размеренно содрогаться. Не могло быть никаких сомнений — он воскрешал бурю, погубившую его псковское счастье. Буфетчица могла подтвердить — проводив последних посетителей, гарсон танцевал фокстрот. Его обезумевшие носки мяли золоченные пробки, букеты, всю штабс-капитанскую жизнь.

День же быстро рос. Как вундеркинд, он сразу казался мудрым. Уже каблировались очередные речи ораторов Лиги Наций. Кондуктора автобусов выменивали набранную мелочь на более портативные билеты. Они зевали. Утренние газеты казались смешными, как вышедшие из моды платья. Восемь трупов самоубийц успели давно остыть, и хроникеры собирали для вечерних газет восемь, или шесть, или десять новых. Вполне возможно, что им пришлось записать и это имя — «Ширяев».

ПИВНАЯ «КРАСНЫЙ ОТДЫХ».

Необходим анализ, прежде всего, граждане, необходим доскональный анализ. При ближайшем рассмотрении все разоблачается. Что такое пресловутая любовь, эти томики «Всемирной Литературы» в папках или без папок? Совокупления капиталистических акул. Точка. Найдены токсины усталости. Поищите, и вы найдете микроба жизни. В особом растворе ухо, отрезанное ухо великолепно живет само по себе, без головы, сохраняя гул трамваев и агонию истлевшего собственника. Можно, наконец, жить вовсе вне времени: стоит построить мотор, равный скорости света. Здесь начинается вечность, не обман «живцов», которые под флагом социального милосердия распространяют все тот же опиум, нет, настоящая строго научная вечность. Анализируйте, граждане, в свободные от работы часы. Если же напряжение интеллекта вызовет законную жажду, зайдите в пивную. Бутылка — 40 копеек. Анализ может продолжаться, среди трудового и нетрудового элементов, над измельченными теориями моченого гороха.

«Красный Отдых». Отдых? Не верьте! Напряженнейшая работа мозгов, мышц, желудочных кислот. Отдыха вообще не существует. Даже сон — производственное задание дублеров жизни: фантазии (формула?), мечты (базис?), искусства (?). Даже смерть — это рациональное удобрение почвы и расчистка жилищной площади. В пивной до трех пополуночи воздух твердеет от интенсивности процессов. Еще бутылочку! Гражданин, до ворота наполненный солодовым настоем и энергией, обхаживает икса, чья идейность сказывается хотя бы в пришитых белых пуговках от кальсон или в пугливом прикосновении к пивной пене («совместимо ли?»). Партия единых государственных флагов установленного образца. Вышитая эмблема. Медные наконечники. Размер 15 на 30. За 100 штук 25 червонцев. 5% комиссионных. Дальше — барабаны. Замечательные пионерские барабаны, высшего качества. Справиться у Мейерхоль-

да. На западе — фокстрот. Здесь же красные стадионы. Мимо пивной трусят в купальных трусиках комсомольцы. Курносые облики повернуты к солнцу и к победе. Если престарелая Вафля и умрет от охальства, это исключительно недоразвитость. Красная физкультура — лозунг дня.

Пиво всем — комиссионеру, скромному, комсомольцам, старой Вафле (с того света), рабкорам, мне, вам, 40 копеек бутылка. Рабкор, тот обличает: тащат мазут, тащат среди бела дня из баков. На линованном листочке скорее кончиком сосредоточенного языка, нежели вставкой: «классовый эгоизм или, правду сказать, безусловный хищник, так что просим, товарищ редактор, его на черную доску, а после куда Макар телят не гонял». Хвалитель барабанов пушливо озирается — очевидно «барабан» и «Нарым» не совместимы. Зачем там флаг установленного образца 15 на 30? Потряхивая локтями, по улице несутся комсомольцы. Громкое дыхание. Громкая жизнь. Пиво всем. Даже конструктору. Даже фининспектору. Даже «живцу». Только угодникам ни пива, ни гороху, потому что их нет, они фикция, обман.

Чаще всех в пивную «Красный Отдых» заходил Александр Ильич Сахаров, столяр-краснодеревец, 54-х лет, член профсоюза, беспартийный, причастный, однако, к культурному строительству. Звал он себя (и от других того же требовал) «гражданином Адамантом». Пиво пил умеренно, для процесса, между двумя глотками читая журнальчик «Смехач» или научную хронику «Известий». Беседовал с кем придется, главным образом, с хозяевами, вследствие текучести состава и длинноты иных сентенций, прерываемых на пятом или шестом придаточном уходе собеседника. С хозяином играл также в дамки. Все шло хорошо. Анализ углублялся. Несмотря на налоги, пиво, просачиваясь, оставляло червонный слой. Вмешалось событие, само по себе радостное. Метафизическое закругление форм обозначило, что жена хозяина, Нюся Федосеевна (ну и выдумали!), ожидает приплода. Радоваться бы надо... Что же, радовались. Радовался хозяин, Иван Егорович, радовался и гражданин Адамант. Последний не бескорыстно: человек жил анализом,

в мирное семейное событие на Шаболовке он обязательно хотел вметать пытливый дух. Результаты налицо. Впрочем, о результатах после.

Мокрицы, фита и ижица, «мокроступы» (из словаря), монашки, просфоры, паразитическая рать в союзе с банкирами Сити, как известно, много испугались. Ходил прошлой зимой в пивную «Красный Отдых» подобный нарост на теле, явный мистик, безусловно занятый обновлением икон или фабрикацией чучел, которые свиным пергаментом и конской челкой волнуют выживших из ума бабок. Тот видел в естественной перемене стиля сатанинский заговор: тринадцать дней похищены для вывода в инкубаторе «Красных Дьяволят» (иллюзион «Спартак») из холодного семени книжника Леонардуса. Но что остается от подобных субъектов при трезвом свете науки? Пророка этого арестовали в пивной агенты Мур'а за кражу из склада «Моссельпрома» копировального пресса и за совершение трех незаконных аборт. На допросе «инкубатор» исчез, и паразит преглуло бубнил: «хожу на дом морить крыс и мышей, а молюсь обо всех, включая национальные меньшинства».

О таких и говорить не стоит. Моль, белесоватую труху мощей и мозгов следует истреблять электрификацией. Гражданин Адамант, если и осуждал новый стиль, то за несовершенство — отстает, и этот отстает! Надо регулировать с безусловной точностью. Суть в числе. Таковы последние данные цивилизации. Конечно, диктатура пролетариата и беднейшего крестьянства прогрессивный факт, но необходимо снабдить ее высоким знаменателем. Исцеляют рак и подают сигналы планетарным товарищам — все при содействии известных таблиц. В темноте плоти — пот и отрыжка, летят стружки волос, стружки зубов, стружки чувств. Так делают дрянные столы для потогонных чаепитий. А с числом выходит дредноут — металл держится на воде, как поплавки. Признание Франции? Очень приятно. Иван Егорович, бутылочку с моченым! Может быть, на 54-м году и гражданина Адаманта кто-нибудь признает, скажет — эта молекула фактически существует. Но подобными ли деталями интересоваться, когда остается минус бессознательного

вращения земли, вне всякого разумного контроля? Направлять бы ее по установленным рейсам, также ход народонаселения, пропорцию рождений и смертей, в виде лабораторной обработки сырья, то есть тканей.

Вот какие задания волновали гражданина Адаманта. Естественно, что беседы с Иваном Егоровичем, даже невинная игра в шашки насыщали пивной воздух копошением умственных бактерий.

— Дамка, она как идея, по диагонали ходит, не считаясь с начальной арифметикой. Выдвижение числа и твой полный разгром, Иван Егорович, на просветительном фронте. Сдавайся!

Бедный Иван Егорович, каково ему было это слушать. Можно стерпеть и несправедливые выкладки фининспектора, и чрезмерную жажду милицейских, и толки о конце нэпа и штрафы, даже штрафы, но не такое углубление. Человек терялся, плошал, неуместно потчевал:

— Может, тебе воблы дать, гражданин Адамант?

Но произнося последнее, сам чувствовал, что слова не те: «Адамант» и вдруг «вобла»!.. Что, если вправду пиво здесь ни при чем. После семи фронтовых лет голова не одолевала даже отрывного календаря, где популярно излагались заслуги основоположника Фридриха Энгельса. Счетом пивных бутылок и пересудами о характере нового начальника милиции ограничивались бы его дни, если бы не гражданин Адамант, уплотнявший мозги мучительными своими проблемами. Атавистическая тоска подымалась в сердце калужского мещанина и «беседы трех святителей», борода козла и борода Адама, даже устойчивость китов применялись к загадочному «электрофону» или к «лучам икс». Он страдал. Он сам ел воблу и, корчась от жажды, но пиво жалея, пил воду, теплую сомнительную воду, отдававшую металлом, который держится при помощи числа на волнах, как поплавок. О... «господи?» Нет, Иван Егорович не такой. О, вождь!..

Спасением должно было явиться указанное выше семейное событие. Наравне с животом Нюси Федосеевны росли и отцовские чувства. Накопление червонцев приобретало

лирический оттенок. «Красный Отдых» мог бы и впрямь стать отдыхом. Но дух гражданина Адаманта, этот универсальный хлопотун, был тут как тут. Только-только поделились с ним трогательными упованиями, как он уже начал анализировать. Вместо того, чтобы выпить на радостях бутылочку за сорок копеек (и веселье, и будущему папаше прибыль), он немедленно приступил:

— Если сеют, скажем, клевер, не ждут тыквы. Так и с человеческим естеством. Ты вот знаешь, кто у тебя будет — сын или дочка?..

— Сынка бы...

— «Бы!..» Наукой вздохи превращаются в факт, причем не только половое обозначение, но и задатки, то есть жизненный путь. Зачем твоему сыну прет над моченым горохом, когда он может стать электроматематиком? Тогда-то все числа будут в его руках. Это тебе не пивные бутылки.

— Брешешь ты, гражданин Адамант! Насчет короля — верю. А бабе в нутро залезать — разве мыслимо это?

— Я брешу? Отсталость твоя брешет. Если бы не культурные начинания советской власти, ты бы меня и на костре сжег. Причем тут нутро? Здесь не в хирургии центр, а в числе, то есть в упрямой воле. Можешь журнал себе выписать через государственную книжную торговлю, два рубля — там все обозначено.

Егор Иванович отчаянно вздохнул, прощаясь с последней надеждой, с уютным копошением (как встарь) темной жизни, а гражданин Адамант принялся за работу. Все свое внимание он теперь отдавал Нюсе Федосеевне. Трогательное недоумение ее глаз, овощных и молочных, передававших исключительно естественное накопление отлагаемой жизни, не останавливало гражданина Адаманта. Начал он с простейшего, пугая полудремоту апатичной хозяйки внезапными и поэтому неправдоподобными, как гром в театре, выборками из таблицы умножения:

— Семью девять — шестьдесят три.

Нюся Федосеевна дрожала, и горох сыпался из рук ее мужа, ровный крупный горох, счет горошин, число, отчаянье.

Потом он принес купленный на Сухаревке старый учебник тригонометрии. Тоска Нюси Федосеевны оказалась окруженной страшными чертежами.

— Я ведь не понимаю этого.

— Все равно. Глядите и отдавайтесь упрямству цифр. Они входят сквозь поры сами по себе, как энергия света.

Не выдержав, Иван Егорович как-то взмолился:

— Может быть не нужно, гражданин Адамант? Пусть будет столяром, что ли, как ты. Сил нет...

— Поздно, Иван Егорович. Вошло в гомункулус, обязательно вошло.

И говоря это, он вынул из кармана лотерейный билет. Перед травой и молоком беззащитной Нюси Федосеевны вырос тотчас же номер «685612».

— Есть.

По ночам Нюся Федосеевна кричала, соединяя железные числа с богородицей и с зеленью лужаек, где безмятежно цветут кашка и колокольчики. Цветочные дисканты по-церковному повторяли «электрофон» и «гомункулус»: это в поры входило число, а из пор выходил злой пот ужаса. Опасались преждевременных родов. Обошлось, и 12-го мая у владельца пивной «Красный Отдых» родился младенец, как и следовало предвидеть, мужского пола. Веривший науке лишь наполовину Иван Егорович сообразил: это не шутка. Вместо того, чтобы радоваться, он только испуганно поглядывал на ангелически пустые глазки новорожденного и шептал:

— Вот сна, электроматематика...

Октябрины отличались угрюмой сосредоточенностью. Нельзя назвать иначе, как зловещими ауспициями, вскрики Зета из «Кожтреста», после трех бутылок возмнившего себя астрономом:

— Эпилепсия планет и пошлый адюльтер спутниц. Статистам в «Аэлите» выплачивали по 2 рубля при полном ослеплении глаз. Спрашивается, какое же на Марсе социальное законодательство? И вообще, существует ли этот Марс или он только оптическое воображение моей дезорганизованной мечты?

Имя. Наименование. Переименование. Улица Фридриха Лассалья. Столица Норвегии — Осло. Папиросы «Красный Дипломат». «Месс-Менд». Кто же не понимает, что имя является предрешением дальнейшей судьбы. Иван Егорович — тот долго упрашивал:

— Назовем Ильичем. Хотя и отчество это, но ясный звук.

Говорил «назовем», понимая, что настоящий родитель не он, тупо, бессознательно, возившийся по ночам с Нюсей Федосеевной в темной комнатухе, кислой от пивного духа и от мещанских грез, нет, другой, проходящий сквозь кожу и мясо, как дикие «лучи икс».

— Назовем!

Гражданин Адамант был, однако, непреклонен.

— Имя «Нумбер», то есть чрезвычайность числа и конечная победа. Будет управлять движением земли — вот как!

Нумбер заумно пищал, еще свободный от грядущих заданий. Пупок был тривиален, но весь особенный, как бы скорректированный досрочным воспитанием. Ивану Егоровичу оставалось прибегнуть только к универсальной, как и жизнь, горечи пива. Опасаясь соприкосновения с числами, бутылок он не считал. Хмель отстаивался. В насыщенном растворе отчаяния намечались кристаллы. Посетители, понимая значимость часа, поддерживали хозяина спросом повторных бутылок и абстрактной бурей, звездной бурей уголовно ненаказуемых возгласов. Конструктивист. Хотя, последний из могикан, держал спич:

— Несмотря на интриги «ахрровцев», мы внедряемся в производство. Говорят, мой стул негоден для сидения. Вздор! Он вычислен. Он точен, как теорема. Виноват зад, исключительно человеческий зад, этот тупой ком бесформенного мяса. Не снижать выкладки до запросов седалища должны мы, но, превращая жизнь в трудовые процессы, видоизменить самое форму вислых мяс, сделать зад динамическим треугольником.

Продавали партию маринованных груздей, юпитера для киносъемок, наждак, подшипники, любительские радиотелефоны, толь и темное, как портер, отчаяние.

В задней комнатухе над рассыпанным горохом вздыхала Нюся Федосеевна, и приступая к трудам, бессонный Нумбер кричал на санскрите или на грядущем волапоке о сумме сумм, также об опрокинутой безумием восьмерке, о предполагаемой бесконечности.

— Когда восьмерка лежит на боку, тогда и конца нет, — подтвердил гражданин Адамант.

Иван Егорович тупо переспросил его:

— Конца нет?

После чего просто, будто сдирая серебряную капсулю с пивной бутылки, оторвал он голову своего страшного сына. Нумбер больше не кричал о сумме сумм. Земля лишилась грядущего регулятора. Посетители, еще ничего не зная, продолжали заливать пивом изжогу и печаль.

— Зовите милицию!

Это кричал сам хозяин, обычно пуще налогов боявшийся протокола. Кража? Скандал? Нет, огромное человеческое сиротство широкоплечего балды, тоска пяти пудов и тридцати пяти лет, калужское тесто, вобла, беда, да, беда: умер, умер Нумбер, первенец, Нумберчик или Нумбик!

Пожалейте! У него был пупок, самый обыкновенный пупок!..

Детоубийцу увели. Возле пивной «Красный Отдых» всю ночь стоял гражданин Адамант и плакал. Кто определит удельный вес этих невыносимых слез? Впрочем, анализ все устанавливает: влага, органические соли, — словом выделение, то есть категорическая ерунда.

КАФЕ «ОЛИМПИА».

Завод «Форда» в Детройте выпускает каждые десять секунд один автомобиль.

На парижской площади Орéга электрическая сигнализация судорогой сводит конечности космополитических тысяченожек. Красное море расступается. Египтяне пристыженно сопят. Таксометры вырабатывают мелкий карманный яд.

Телефонная станция автоматически совокупляет души Альфреда и Мари.

Радиоаппараты (98 франков штука) передают невинность «Миньоны».

Засъемка прорастающего семени равняется погоне, таким образом, стебелек участвует в проблеме междупланетных сообщений.

Архитектор Корбюзье-Сонье строит дома, где даже заставляющийся кубический сантиметр и тот использован для шкапа. В шкапу же полагается держать двухмерные бутылки «пуристов».

В предсмертный «туалет» преступников ведомство гигиены включило прохладные души.

Выработана модель платья, опадающего при одном подергивании крохотного металлического язычка.

Искусство спешно демократизируется. Раздражительные рефлексy Поля Морана расходятся ежедневно в 89 экзeмплярах, то есть 33 тысячи в год.

«Розовый Гид» (амур стиль «модерн» на обложке) группирует адреса по городам, кварталам, улицам. Номера автобусов, остановки метро. Даже гордость Парижа, наряду с Венерой Милосской и Эйфелевой башней, публичный дом «шабанэ» приноравливается к ставкам мелких банковских служащих. Раз в жизни любой приказчик может снять апартаменты покойного короля Великобритании, со всеми их гигиеническими приспособлениями.

Перевозка трупa через весь город (Отейль-Пер-Лашез) занимает не более 22-23 минут. Специальный автомобиль снабжен траурным отхвостом приятно продолговатой формы. Крематорий (4 динамо) поглощает идеи и солидный массив таза в 11 минут. Слезы быстро кристаллизуются в бисерные веночки, подвешенные к стенке.

Все эдемы скуплены у поэтов почтенными дирекциями универсальных магазинов и, разумеется, стандартизованы.

Кафе «Олимпия» пропускает ежедневно около 4000 посетителей. В гигантский бак кидается 60 кило кофе. Гарсоны преданы шведской гимнастике, они то выбрасывают черные струи, то вбирают в себя монеты. Напитки меняются по часам. С 10 до 12 первенствуют «дюбоннэ» и «бирр». С 12 до 2 — кофе. С 2 до 4 — сидронад и сиропы. С 4 до 7 — «пикон». С 7 до 9 различные ликеры. С 9 до 12 — пиво и липовый чай. С 12 до 3 — шампанское, минеральная вода, коньяк, 600 сорокасвечных ламп. «Говорят по-португальски». «Говорят по-арабски». Концерт. Сен-Санс. Фокстрот. «Эрнестина, у меня больше нет фосфора!..» «Жареные кишки из Вуврэ получены!» «*Journal des Debats*». Американские трактаты «армии спасения». От 250 до 300 гигиенических проституток. Столь же гигиенические уборные. Результаты скачек. Ежечасно биржевой бюллетень — отдача биения мессопотамской нефти с помощью розовых листочков (цвет невинности). Столы без разделов — экономия материала и торжество коллективного принципа.

По воскресеньям с 5 до 7 — опровержение иностранных пасквилей, наглядная демонстрация незыблемости французской семьи. Быстро (или недостаточно быстро) утираемые носы ребят скептически подталкивают соломины гrenaдина. Божественная скука передается даже «пиконам», убывающим много медленней обычного. Организованная современным гением, она превращается в сотни юмористических журналов, в программы вечерних «обзрений», в приличную полудремоту. Если при этом умрет новый Лафорг, 11 минут обратят его в горсточку безобидного пепла, в 168 кратких некрологов столичной и провинциальной

прессы. Впрочем, последнее вне «Олимпии». В «Олимпии» — заслуженный отдых после 5 трудовых дней (английская неделя).

Господин Верру ежедневно посещает кафе «Коммерс». Партия «пике» заменяет пикник (зелень подклапываемого сукна много свежее медонских лужаек). К тому же «пикон» там на 10 су дешевле, нежели в Олимпии. При жаловании в 1100 — весьма существенно. Однако, недаром воскресные дни даже на отрывных календарях проставляются иной краской. Исключительность всегда связана с расходами. Наконец, шляпка госпожи Верру, выгодно приобретенная в «Галери Лаффайет» за 49 франков, не удовлетворяется субботним кино, где сначала темнота, смачное чмокание, а потом припудривание поврежденных щек и мессинские апельсины. Шляпа (сегодня), туфли (вчера), сумочка (завтра), подобно гениальным элегиям ученика коллеги, срочно нуждаются в опубликовании. Глаза же и мозг госпожи Верру ищут сырья для медленного шестидневного перерабатывания на лестнице, в кухне, у приятельниц. Семейное счастье, этот магазин с недорогим, но добротным приданым или же скоромная отрывка чересчур постного моралиста и прочее, прочее — прокладывает руку господина Верру к локтю госпожи Верру. Ясно, что крохотный Поль, Пополь, даже Попополь особенно лирических минут несет туда же, то есть к гренадинам «Олимпии» сырой нос и преждевременную мудрость.

Семейство кружится среди шляп, сифонов, лампочек, опилок, которыми осушают пол, захлебывается, тонет и, подхваченное лоцманской рукой одного из распорядителей, выбрасывается на остров. Пополь же ерзает, карабкается на колени, медленно, но верно выживает соседа.

Господин Верру пьет «пикон» (тот, что на 10 су дороже). Госпожа Верру — кофе. Она не может воздержаться от калькуляции. 3 франка 25! Дома это обошлось бы не дороже 90 сантимов. 2 франка 35 — чистого убытка. Стоимость превосходного туалетного мыла «Орхидея-Пино», также 3-х половых тряпок. Однако, сознание, где она, экспонирование своей шляпки, созерцание других, наконец, соседка по

квартире, госпожа Болье зябнущая независимо от погоды, на общей скамье парка Монсо (даже не на наемном стуле), быстро утешают ее. Тем паче, что Пополь получает, согласно традициям кафе, также евангельским, бесплатно толику алого сиропу.

Начинается работа. 3 франка 60 (с чаевыми) требуют двух часов. Первые 20 минут происходит медленное всасывание жидкостей, света, семи букв «Олимпии». Далее — обзор соседей. Социальный разрез. Тенденции Золя. Психоанализ. Здесь супруги, единые перед богом и государством, связанные 14 годами, ох, какой же выносливой, кровати, общей фамилией на почтовых расписках, желудочными заболеваниями Пополя, явно разделяются.

Госпожа Верру проверяет действие еще не известных ей кремов. Устанавливается возможная стоимость эффектных чулок. Углубляясь, она задумывается, — стоит ли данный образец его тары? Что за нос? Скажите же, что за нос? Кто может содержать подобную женщину? Разве совместимы монументальный зад другой и чувства ее любовника, сказывающиеся хотя бы в мехе из крашеного леопарда? Ведь отслоения теперь не в моде. Если вычеркнуть из меню суп, можно сбавить 8 кило (установлено дамской хроникой газеты «*Matin*»). Но чем заменить? (не отслоения — суп). Суп ведь экономней всего. Притом некоторым нравятся полные. Мода может измениться. Вот только-только госпожа Верру решила обрезать волосы, а уж поговаривают о шиньонах. Нет, лучше с супом. Та, с колье, весит, наверное, не менее 75 кило. Колье же стоит не менее 160 тысяч.

Голова госпожи Верру работает, как автокасса большого магазина, отщелкивая кило, года, франки. Непривыкшая к столь интенсивному мышлению, она вскоре устает. Жвачная меланхоличность зрачков и кокетливость зевоты знаменуют вступление в следующую фазу. Гарсон приносит «*L'Illustration*». Абстрактность фотографии приятно успокаивает. Греческий патриарх, высланный турками, никак не вмешивается в семейную жизнь четы Верру. Разбившийся летчик Крюси остается аппетитной справкой. Губы и те носят выраженно спортивный характер. Зевота нежно рас-

тягивает желудок. Приближается 7 — выход.

Это — госпожа Верру. Муж ее, как уже было сказано, живет жизнью раздельной. Он тоже обозревает, ухитряясь в воскресный, то есть в полный буколического щебета, утилизируемых носиков (ноносиков) день выискивать «тех самых». (Да, да, «тех самых» — существительное в семейном окружении право же неуместно). Складностью и выхоленностью они нагло разбивают эту толстозадую, единокроватную, котлетную, пыльнотряпковую картину основы Республики, священной ячейки. Дирекция кафе «Олимпия», впрочем, не виновата. Воскресенье — для всех. Есть провинциалы. Есть иностранцы. Есть, наконец, и холостые. Пусть честные дамы железобетоном спин заслоняют ультра-целомудренные глазки Альфредов или Жозефов. Пусть Пополи смотрят на счастливые лица дорогих родителей, на эти рассадники проказливых аистов и укромной капусты.

Однако, господин Верру, пока половина его, вследствие выкладок и переполнения, настойчиво потеет, смотрит на «тех самых». Увы, глаза его, не менее других органов причастные к клятвам верности и к обручальному кольцу, явно изменяют. Что может поделаться госпожа Верру, даже подкрепленная советами маман, соседок, консьержки, драматурга Батайля, апостола Павла, с этими двумя пронырливыми тараканами? Ее умиротворяет сознание беспомощности вышколенных насекомых, крепко привязанных к дому № 41, улица Монж, четвертый этаж направо, к линии автобуса ЕА («Лионский Кредит» — двуспальная кровать), к отслоениям самой госпожи Верру. Притом проверяются отбытия и возвращения, часы «пикетов», достоверность «пике», безусловность брюк на сослуживцах, все, вплоть до экстренных работ по сведению годового баланса.

(Редко, раз или два в год — Сена и та разливается чаще — господину Верру удастся подстрелить в зеркалах кафе «Коммерс» вкусную «курочку» и задыхаясь, скорей от спешки, нежели от страсти, забежать с ней на полчаса, куда следует).

Глядеть же?.. Разве властен человек над излучениями слизистых комков, над молнией, над вдохновением (хотя

бы Эдмонда Ростана)? Правда, госпожа Верру, установив порой астральную связь между содроганием супружеской манишки (приобретена ею же в магазине «Самаритэн», 8 франков 80) и губной помадой одной из «тех самых» (помада «Коти», тон вишни, 13 франков батон), возмущенно растягивает сердцем лифчик:

— Тебе не стыдно перед Пополем?

Забытый, вследствие высоких страстей, носик Пополя подозрительно увлажняется. Ответ дипломатичен:

— Я гляжу, какая теперь мода. Вот бы тебе такую шляпку...

Общая лиричность. Все носы приводятся в порядок. Часовая стрелка начинает свое восхождение. Мистически познаваемые запах рагу по-тулузски и пуховая мягкость двухспальной приподымают супругов. Пополь уносит соломинку. Воскресенье отработано.

14 лет. 728 воскресных выходов, не считая праздников и каникул. Один, однако, заслуживает особой отметки. Это, если угодно, юбилейный автомобиль, рядом с которым снят сам мистер Форд (см. рассмотренную госпожой Верру фотографию в № 3118 «L'Illustration»).

Воскресенье 1 марта 1925-го года. В обрамлении отсутствие чего либо исключительного. Укорочение весенних костюмов, кротко зарегистрированное госпожой Верру, двойная порция атмосферического аперитива, в виде 14 градусов по Цельсию. Отсюда развязность телодвижений некоторых посетителей «Олимпии» (разумеется, иностранцев, которые к тому же не платят налогов!). Хотя бы соседа четы Верру, юного бритта, с головой, сделанной из футбольного мяча, с лапчатостью теннисных ракет вместо обычных конечностей. В методическом припадании мяча и ракет к укороченному костюму одной из «тех самых» сказываются не только «вермут», не только 14 Цельсия, но добрая тысяча лондонских воскресений, с их треском страниц библии и пересушенных губ невест, никогда не становящихся женами. Оплачивая жизнь, вплоть до континентального солнца и укороченных костюмов, доброкачественными фунтами стерлингов, спортсмен явно пренебрегает присутствием

Пополя, многих Пополей, сосредоточенно сосущих соломины. Вне разряда аистов и капусты, калоши его губ шаркают по пудре «Инститю де Ботэ», тон «Рашель», 12 франков коробка, вызывая справедливое негодование госпожи Верру. Что касается господина Верру, то, зная высоты английской валюты, он только прикидывает — вчера фунт 92,25 при повышательной тенденции. Рядом с этим его 1100 в месяц, увядание усиков, надоедливая пресность двуспальной — картофельное пюре, даже без подливки. Пучит живот. Вдохновение гибнет, черное вдохновение «пикона», крашенных голубых гвоздик в витрине цветочного магазина, сочиненных им, еще в коллеже, ровно 32 года тому назад, александрийских элегий (с соблюдением всех стоп).

«Та самая» оправдывает местоимения. От ее губ, к которым хронически как к «вермуту», прикладываются английские, ноги господина Верру определенно ноют. Ноги и гетры. Он даже наивно жалуется заботливой половине. Госпожа Верру отмечает опасность переходного сезона и, скрепя сердце, обещает предварить двуспальную ромашковой настойкой. Без четверти семь. Не выдержав, господин Верру подымается. Его супруга, хоть удивленная, но обещавшая некогда перед золотушным писцом мэрии 13-го округа быть во всем послушной, готовится подставить свой локоть. Господин Верру, однако, решительно проходит в уборную.

Вот он, высокий стиль нашего века, кафельные стены, свет, журчание 30-ти кранов, должное опозитизирование процесса перегона поглощаемых жидкостей. Человек превращается в облако романтических баллад, в духовное испарение. Старуха, этот архангел в пегом парике, обозначает раздел полов. Дамы (направо) ремонтируются сериями. Господин Верру должен пройти, разумеется, налево. Он твердо знает это направление, сопровождая супругу, даже укладываясь на двуспальной. Однако, он медлит. Он на рубеже. Рядом с ним «та самая»: отдых от спортивных эксцессов молодого партнера. Глаза встречаются. Около 10-ти секунд глаза стоят, не вращаясь. Наконец, «та самая» скороговоркой, как маклер биржи, выбрасывает две цифры:

— 3 минуты, 50 франков.

50 франков. Это 25 воскресных «пикон»». Это 33 «пикона» будничных. Это одна двадцать вторая месячного заработка. Голова господина Верру в неистовстве умножает и делит. Но ноги, никак не соблазняемые предстоящей ромашкой, заслоняются от четырех правил. Они проделывают пять или шесть требуемых шагов.

В одной из 18-ти телефонных будок господин Верру находит выключатель. Свет задавлен, как назойливый жучок. Длинная коробка, гроб в непривычно вертикальном положении, наполняется густым дыханием и духами «Шипр» Убигана, 34 франка флакон. Сердце господина Верру вместо 70 положенных сокращений проделывает 80, может быть, даже 90.

Через 3 минуты телефонный разговор закончен. Вне забот автоматической станции, души двух мечтательных существ соединены. Пятидесятифранковый билет переходит из псевдокрокодилового бумажника в чулок «той самой». Один из 30 кранов, зеркала, пудра возвращают обоим первоначальную окраску, — солидно охровую служащему «Лионского Кредита», абрикосово-девственную «той самой».

Госпожа Верру ждала не более пяти минут. Она успела разглядеть кожаный пояс (остатки, магазин «Лувр», 6 франков 90) и г. Мильерана, принимающего депутацию от духовенства Эльзаса.

Прежде чем поднести руку к локтю супруги, господин Верру старательно вытирает носик дорогого Попополя.

Каждые 10 секунд завод «Форда» — ... И т. д.

ТРАТТОРИЯ «КАЗАТИНО».

Созвездья, которые Карл Бедекер, а также все его позднейшие перевоплощения щедро швыряют направо и налево, заслуживают лучшего применения. Я, конечно, понимаю, что девственницам из Ливерпуля или пильзенским пивоварам лестно увидеть под дюжиной Мадонн пломбу гарантии — «Рафаэль». Столь же ясно, что после экстатического озноба вышеобозначенные персоны нуждаются в ваннах и в комфортабельных апартаментах отеля «Люкс» или «Минерва». Все это так. Да и звездочки Бедекера выглядят неплохо, будь то фамильные драгоценности Мадонн или расшитые рукава блистательных грумов. Однако, я поступил бы иначе. «Минерва» — удовольствие не дешевое, притом имеющееся повсюду, уж не говоря о Ливерпуле, даже в Пильзене. В музеях же, откровенно говоря, попросту скучно. Есть места, где кровь этой замечательной земли не только значит, более или менее выцветшим, краплагом на трухлявых холстах, но впрямь льется — вязкая, терпкая. Она в огромных фиасках, пригибаемых хваткими руками каменщиков или пастухов, она и в этих руках. Звать ее, как угодно — вином «кианти», италлическим зноем или «Конфедерацией Труда». В маленькие траттории перенес бы я доходные звезды. Там темно и вдоволь прохладно. Шары сыров, подвешенные к потолку, наряду с луной, сопутствуют земле. «*Porca-Madonna*», источаемая, как протабаченная слюна, стоит вполне рафаэлевских. Что касается домашних ларов, то их не перечислить, этих мягких и влажных богов, одетых в октябрьское золото соломы. Вместо привозных пробок — оливковое масло, тщательно снимаемое паклей. Слов нет, вино грубоватое, в нем плебейская прямота, но и плебейское благородство. Происходит не романтический сдвиг пропорций, а известное очищение мира. Описанные столькими летописцами холмы лишаются исторических волдырей. Замена иезуитского собора св. Игнатия заводом «Фиата», по плоской крыше которого кружатся лимузины, уж

не останавливает внимания и черная рубашка фашиста, это пугало станционных перронов, в ирреальности равна гвельфу (или гибеллину). Земля как таковая, земля, употребляемая художниками в натуральном и жженном видах, дается тогда целиком, и кто скажет, что она не нужна миру, эта земля — Италия, без Мадонн, без фашистов, даже без «Фиатов»?

Расположенная на крутом холму, Бибиена дается с отдышкой. Приезжему рекомендуется минимальная честность — тщательно обойти сторонкой, как бронзового Гарибальди, так и фреску кватроченто, направившись прямо в тратторию «Казатино», где немало фиасок: грузное кианти, белое «орвието», даже знаменитое «эст-эст-эст», которым опился некий епископ, успев перед смертью повторить этот отсутствующий в программах семинарий символ веры. Вместо Тэна, не мешает изучить хотя бы искусство есть макароны, с индустриальной быстротой нанизывая их на вращающуюся вилку. Можно познакомиться с хозяином, с Этторе Битто. Старик не разговаривает, он только переставляет брюхатые фиаски, подымает их, смотрит подолгу на свет. Тогда кровь марает землистые щеки, щеки 68 лет и кватроченто. Три завсегда: кровельщик Беппо, маляр Джиованни и пастух Уго, зоркости которого поручены 87 козьих душ Бибиены. Корявыми пальцами они крошат рыжий, сухой, как земля, сыр. Имеются у них и свои присказки, дающие должный ритм эпическим движениям. Кровельщик Беппо говорит:

— В Америке 60 этажей. Вот где скучно!

Джиованни:

— На что черт умен, и тот чихает.

Молоденький Уго обобщает:

— И отчего это кошки не дохнут?..

Подобные умствования, впрочем, сопровождаются вполне добросовестным смехом. Пусть в Америке скучно, они пока что в Бибиене. Хоть плохо, хоть сыр 18 сольди за четверть, все же они здесь, не на шестидесятом этаже, — среди коз и солнца. О черте и говорить нечего — пусть чихает. Кошки же дохнут, обязательно дохнут, как и фашисты, толь-

ко прикидываются двужильными. Можно попросить у старика Этторе еще фиаску. Они угостят и чужака, бездарно роняющего макароны на колени. Пожалуй, они расскажут ему о жизни в Бибиене. Жизнь, как жизнь. Хлеб подорожал, но все таки это не Америка.

Не следует только расспрашивать их об одном вечере, когда они, как каждый вечер, пили вино, крошили сыр, беседовали о чихе и о кошке, когда в тратторию вошел достаточно неожиданно каменщик Джулио Эльвино. Было это в июне прошлого года. Но об этом не следует их спрашивать. Однако, об этом следует рассказать, чтобы стал внятен красный ток, сквозь стекла обдающий щеки старого Этторе.

Коренным жителям Бибиены мало что известно о жизни Джулио Эльвино, хоть он опознал впервые мир, вмещающий, как известно, 60 этажей, черта и двужильных тварей, здесь, на холму, на одной из ступенчатых улиц, где просушка белья, распространяемого ветром, между чердаками двух полунищих синьор, наряду с помидорами, является ярмарочным балаганом, если не всемирной выставкой. Здесь же шли первые игры: солнце, продырявленный сольди, а в июньские вечера феерические иллюминации светляков среди целующихся парочек, залеты, исчезновения, следовательно годà, до того года, когда в лягушечью баркаролу этих губных сумасшествий не вмещались и губы Джулио, нашедшие иные (имя опустим — 18 лет стирают начисто даже могильную вязь). Почему же он уехал, уехал от этих губ, от светляков, от рыжего сыра и фиасок туда, где охровая телесная покатошь холмов хитро заменена уступами этажей, где все жучки пойманы, спрессованы, заключены в один полярный шар «статуи Свободы»?

Здесь приходится вставить справку касательно земли, прекрасной земли Торкватто Тассо, Панталоне и Муссолини — она не кормит. В двадцать пять лет — шестой погодок. Вислые, как у капиголийской волчихи, груди явно ни к чему. Если кровь и кидается к еще моложавым щекам, то она здесь доступней, будь то фиаски Этторе или хороший нож, привезенный из Ареццо. Поленты и той не хва-

тает. Живописность иных лохмотьев, конечно, привлекает ливерпульских девственников. Реноме, таким образом, спасено. Молодожены могут не менять маршрута. Аллюминиевый поднос над коллизейской свалкой возводит стыдливые формальности до высот Данте. Однако, Джулио пришлось опуститься в трап, как в гроб. Только щелканье виска напоминало о Бибиене. Но он вернется! 300 долларов и назад...

Красота отпала со сходнями, если угодно, дорогая. Впрочем, кто этим интересуется? Кто на рю де ля Пэ, в этой ювелирной лавке мира, занимается сложной калькуляцией, переводя караты камней на съеденные трахомой глаза еврейских гранильщиков Амстердама или наполненность добротного жемчуга на задыхания арабских ныряльщиков? Божественный распорядок, не 60, но миллиарды этажей. На каком же месте Джулио? Каменщик Чикаго, он строил. Кровь преглупо плескалась в руках и фосфоричность зрачков заменяла землякам светляков Бибиены. Их десятки тысяч, этих каменщиков из Италии. Там, у себя, — норы с чадными жаровнями, столь умиляющие пильзенских пивоваров (искусство!). Здесь же подрядчики Чикаго или Нью-Йорка не могут нарадоваться. До чего они ловки! Обезьяны! Упадет? Что же — зароят. Иска не будет. А у входа уже жмутся кандидаты. Как это сказал французский дадаист? Ах, да «умирать от того, что не умираешь». Притом лопают маис, от которого воротят морды все коренные коро-вы штата Огио. Пусть синьоры в Бибиене, среди своих помидоров, рожают побольше макаронщиков — тарифы летят. Гениально придумано — человеческая инфляция! Огромный светляк в Нью-Йоркской гавани опаляет глаза грядущих штрейкбрехеров. Как коза от «Форда», апеннинская ругань испуганно скачет прочь от двух слогов надсмотрщика с хронометром. А если сказывается кровь, та самая, что краплагом на холстах влечет к себе лейпцигские монографии и даже доллары, тогда... Тогда Санцо и Ванкети знакомятся с сухой дрожью этого материка. Гений двусложных окриков и шестидесяти этажей током высокого напряжения останавливает неровные заскоки кустарных сердец.

Это только тщательная корректура хорошо поставленного издательства.

Джулио Эльвино не стал опечаткой — он работал. Статистика потрясает: каждый день в Чикаго вырастает один дом плюс одна четырнадцатая дома. Жизнь, однако, не поспевает, с засыпаниями и пробуждениями, с потом, позевываниями, почесываниями, с ломотой в пояснице, с постепенным снашиванием отдельных частей, с ревматизмом или зубной болью, с вечерними томлениями и со скукой утр, вернее всего, со скукой, которая, вопреки логике, помещается в уплотненных трудом сутках. 18 лет немалый срок — к постройке скольких сотен домов были причастны эти крючковатые, вроде стволов тосканской оливы, руки? Дома помечены, как и рождения людей, в книгах муниципалитета. А помимо записей сообщить нечего. Разве что — копошение личинок ностальгии. Унесенный в трюм трансатлантического ковчега запах, запах, состоящий из прованского масла, вина, черемухи и козьего пота, преодолевал гамму Чикаго, от дыхания 800 тысяч «Фордов» до замедленного испарения кровищи механически закалываемых свиней. Вернется ли он? Здесь была лихорадка мелких надбавок и штрафов, ловких прыжков среди многозначительности этажей и внезапного сведения подержанных мускулов. Слушая агитаторов, он дрожал, как на лесах — прыжок, футы, смещение этажей тянули вниз. Сказывалась природа крови. Но нет, он должен вернуться! Там? Там будет все!..

Что же, да здравствует святой труд и христианское терпение! 18 лет дали 300 долларов. Постройка стольких-то домов была вознаграждена июньским вечером, полным площадок светляков.

Он смотрел и смеялся, глупый Джулио. Сколько здесь фиасок! Их больше, чем построенных им домов. Сколько светляков! Он также нюхал. Чеснок умилял его. Черт возьми (черт? да черт — ведь и тот чихает), это Бибиена! Только почему он состарился? Почему он не может в лягушачий хор на склонах холма вставить свою ноту? Этажи съели что-то, 60, иногда и больше. Но все-таки он в Бибиене!

Взяв классические (в коленкоровых переплетах) восторги Гете, Стендаля, Гоголя, пильзенских пивоваров, девственников, добавив столь же стилистически безукоризненные чувства сумеречного возврата коз Уго к теплому пару закуток, можно получить высокий тон смеха, шуток, проклятий того вечера. Даже «*Porca-Madonna*» возводилась на высоты, незнакомые Рафаэлю. Старик Этторе выставил пять фиасок: горло нуждалось в смягчении. Многое стало внятно и навсегда. Этажи, чихание, живучесть иных легко расшифровывались. Затем настало неизбежное «здесь». Да, здесь-то как? Здесь следует им свернуть шеи! (Кому? Этажам? кошкам? черту?) Нет, не свернешь — это кровельщик Белло вздыхает. Тогда Джулио с отменной точностью, вплоть до интонаций, вспомнил бравады чикагских смельчаков. Ждать? Ведь он у себя, в Бибиене. Сложность газетных терминов, теория прибавочной стоимости, статистика жертв тэйлоризма были быстро переведены им на язык этой земли, ее крепкой крови и бесхитростного вина.

— Им следует свернуть шеи!

Он не заметил, как в тратторию «Казатино» вошли два новых посетителя, он опустил и фиаску, угрюмо поднятую старым Этторе, глядевшим на беспомощное жало лампы, и рыжий сыр, зло искромсанный пальцами Уго. Он стоял на своем — свернуть!

18 лет за один вечер. Нет, лучше бы он не приезжал! Лучше бы еще сто домов, даже высокий ток электрофицированной справедливости. Ведь там можно все взвалить на этажи, на чикагских свиней, на два слога щетинистого сердца, там, не в Бибиене...

Как копировали геральдику звездного небосвода эти одаренные фосфором и поэтичностью насекомые! Сколько крепких поцелуев вызревало на боках холма, среди травяной младенческой белиберды, готовой через месяц-другой стать кровью фиасок, поддержкой на год перегруженных плеч Беппо или же тоски Уго — сколько было поцелуев, лоз, фиасок, тоски! Пусть, вмешавшись в дело, статистик и переведет эти лягушачьи трели на переизбыток рождаемости, на туго набитые желудки океанских рыб, на хитрое подмигива-

ние известной статуи — горше ли они от этого, губы? Цифры ведь остались в Чикаго, где телефоны, морги, кассы, густая тишина медленно вытекающей жизни, пресной, бурой жизни стольких-то признанных здоровыми и безболезненно ликвидированных боровов. Здесь же Джулио может попросту жить. Подумать, 38 — разве это старость? Глаза готовы соперничать с жучками, а губы уже рвутся в прорывы улиц к какой-нибудь Джулии. Только одно, завязанный для памяти узелок, нота-бене восемнадцати лет, электрических кресел, этажей — свернуть им шеи.

Чужие, спросив два стаканчика марсалы, брезгливо отряхнулись. Что им претило? Ночь, светляки, слова Джулио Эльвино? Внимательно был рассмотрен, был и понят червонный блик на глиняной щеке хозяина. Кисти двух шапочек зло пошевеливались, как хвосты раздраженных кошек. Вылив стакан, старший, сын крупного виноторговца из Ареццо, Филиппо Ферачи, он же секретарь местного «фашио», сказал... Здесь — в сторону. Вопрос мечтательного Уго: почему они недохнут? Я оставляю газеты, разноголозицу телеграмм, споры в римском кафе «Орканья», эти построчные верования, Авентин и Монтечиторио. Там, над выбитыми монотипом молитвами, которые марают не одни только пальцы, я тоже готов считать, прикидывать, профессионально усмехаться. Здесь же, в траттории «Казатино», я знаю одно — жизнь: светляков, шершавую кожу бутылочек, смех на улице за косами дверных бус. Да, да, он прав, глупый Джулио — «свернуть шеи»! Просто — как поцелуи среди лозняка, как два литра любой фиаски, как человеческая теплая тоска под шарами сыров и под звездами.

Белые или черные — все равно. В Чикаго они цвета извести, в дурацких колпаках, с клятвами перед электрическим, вспыхивающим, наподобие реклам растительного масла, крестом, с обрядными приседаниями и с текущими счетами в 600 банках, с библией, просаленной нефтью «Ойль-Треста». Здесь, в захолустьи этот ареццкий виноторговец Ферачи и сын Ферачи, которые разливают по бочкам конденсированную кровь округа, умение ею распоряжаться, необходимая остротка, а также модные спортивные наклон-

ности. «Фиат» вычерчивает спирали долин, по всей вероятности нарисованные мастерами кватроценти. Светляки сконфуженно теряются. Завтра римские листки замарают пальцы завсегдатая в кафе «Орканья» пятью строчками об очередной карательной экскурсии. Один из поцелуев останется недописанным, как слишком гениальная поэма. Зато положение виноторговца окрепнет.

Возвращаюсь — Филиппо Ферачи сказал:

— Осел! Здесь тебе не Чикаго. Встань и кричи: да здравствует Бенито Муссолини! *Vivo il Duce!*

Да, здесь не Чикаго. Здесь Бибиена. Кому же лучше знать об этом? 300 долларов. 18 лет.

— Пусть ослы кричат. Всем вам следует...

Крохотный жест продиктовал это многоточие. Сын виноторговца умел разливать по бочкам крепкий сок своей земли. Что же, теперь он пролил его на земляной пол, часто впитывавший добротную кровь фиасок. Расталкивая ночь и светляков, черные рубахи спустились в долину, где поджидал их механический круглоглазый бульдог. Так кончилась эта летняя прогулка с двумя стаканами марсалы, с хронической лужицей в захудалой траттории, с пластическими спиралями долин. Светляки же быстро оправились, как вода, переварившая брошенный бульжник. То же самое приходится сказать и о поцелуях. Даже о поцелуе какой-нибудь Джулии, которую мог бы целовать Джулио. Сослагательное наклонение не участвует в баркаролах на холму.

Резюме излишне. Вторично каменщик из Бибиены узнал погружение в темноты трапа, причем шамканье приبلудного капучина мало чем отличалось от рева турбин. Вот только Этторе стал еще молчаливей, да, может быть, краснота прорезываемых светом фиасок еще общедоступней. Однако, об этом говорить не приходится. Зачем вызывать боль деликатной части тела, соединяющей рот с желудком, а язык с бумажником? Что касается молодого Уго и всех, которые рано или поздно последуют совету злосчастного Джулио, то они ведь книг не читают...

КАФЕ «ФЛОРИАН».

Все помнят, какие стояли в ту зиму холода. Особенно четыре ночи. Казалось, изъято все человеческое тепло. Похоронный марш загромождал Колонный зал пластами льда. «Трите, гражданин, трите нос» — сердобольно раздавалось в хвостах Дмитровки или Моховой. О, полюс! Не режиссер, природа ставила трагедию. Неумягченный бальзамом, он выбегал из прозрачной коробки и продолжал метаться по необозримой эстраде, по всем пустырям, степям, пустыням, наряду с волками, с Николой-чудотворцем и с сухими ветрами Азии. В ответ колосился урожай так называемого «ленинского призыва». Молодость продолжала пугать мир. Все-монгольский курултай слал приветствия.

Сначала паровоз, пересиливая заносы, смешно пыжил-ся и насвистывал какую то комсомольскую частушку. Потом его сменили. Европейский шел, не считаясь с человеческими чувствованиями. Он переползал через границы, нарисованные на мирных конференциях, как через обыкновенные холмы или мосты. Политический строй, моды, сны обдаваемых его дыханием стран, никак не волновали чугунного сердца. Мотив был упрощен: счет километров. Виды заменяли курс истории. Стекла, вначале туманные, быстро прояснялись, зато желтый, тяжелый, как кладбищенский суглинок, туман застлал спицы церквей и человеческие котелки. «Машина времени» неслась назад. Если Берлин еще значился началом нашего века, Гогенцоллернами и трубами, разлитием желчи, разлитием железобетона, то Вена уже откровенно пролетала под знаком 19-го.

Я искал на Ринге песочные цилиндры. Я готов был объясниться в любви пыльной кукле любой парикмахерской. Доходили жалобы: некого брить — отпали бороды мадьяров, чехов, поляков, кроатов, все бороды.

Локомотив зубрил счет дистанций (может быть, веков). История перебивалась веселыми водопадами, тирольским фетром и коровами. Мы ныряли в глубь времен. Я стеснял-

ся паспорта и торчавшего из кармана стило. Так настала Венеция.

Что описывать и чем, не краснея, гордиться? Ведь у этой красавицы перебивали легионы, поздно засиживаясь и унося с собой подозрительнейшую из всех болезней — романтическую водянку Адриатики. Реноме велико. Падкий на славу, зная что даже помет, роняемый на площади св. Марка разжиревшими голубями, историчен, я все же плошал. Да, карточки во всех ролях, ленты венков, сувениры, парики, розы. Но изо рта, из гнилого рта краткого и выразительного, как любая помойка, вырывались запахи веков, их настоящие, не парадные запахи, универсальное разложение. Как начинающему «коту», полному еще ангелических припухлостей и зазорных словечек, мне приходилось спать с этой дряхлой примадонной.

Слов нет, небо было прекрасно. Такого неба, легкого и бескорыстного, нет нигде. Горизонт, как раздел, отсутствует, и грусть неба легко переходит в грусть венецианок. Неясная зелень их глаз при зеленоватости воды и воздуха, при этой выцветшей резеде, едва согреваемой золотом волос, золотом холстов Тинторетто, золотом заезжих янки, кого она не сводила с ума? Причем страсть сводится здесь к чувственным потягиваниям кошки, к взволнованному клекоту серенад (на час или на всю ночь, спрашивать обязательно таксу). Объятия слишком опасны в щелях каналов. Зато зеленовато-розовое марево внизу и наверху, неба и воды, зрачков и губ, доводят старых немок и обезьяноподобных «пиколо» первоклассных отелей до омертвления.

Пусть спят! Расчет идет в подлинных чувствах и в твердой валюте. Над ними — Кассиопея, звезда, заставившая некогда Джакомо Казанову размягчить влагой умиления крахмальное жабо.

Венеция! Валюта Италии! Лира менял и лира поэта! Нет, не нужно смеяться, — пусть спит, пусть спит всласть!

Только от носа требуется героизм, от этого небольшого и неблагодарного придатка. Тинторетто, узы, не пахнет, как и раскраска неба. А серенады перебиваются густыми взрывами газов. — Каналы — это кишки города (где, кроме мос-

та вздохов и голубей, еще сто тысяч живых итальянцев, глотающих макароны), вывернутые наружу. Такова оборотная сторона всякой связи. Без этого, кажется, не бывает любви.

Вспоминая мороз, извести и смех, смех, от которого так непочтительно подпрыгивает каскетка курносой комсомолки, я делал то же, что и все: глотал слоеное мороженое («кассата»), сквозь особые очки разглядывал холсты Тинторетто, дышал рыбой, гнилью и миндалем. Поставить ли себе в заслугу, что я не снялся с одним из голубей, больных ожирением, или, напротив, пожалеть, что компрометирующая фотография не была послана той самой комсомолке?

Иногда я ездил на Лидо. Маленький катер, получивший классическое воспитание, умел музыкально пыхтеть. Игрушечная топка исполняла серенады. На плоском острове, среди песка и поддельных кораллов, теплея, загнивали, как водоросли, туловища берлинских шиберов и нью-йоркских ведетт. Утомленные грубым материализмом жизни, они вдыхали, как в ингаляториях, это чуть зеленоватое небо. В огромном отеле «Эксельзиор», мраморным леденцом отгородившим пляж от прохожей голытьбы, обдаваемые пеной «асти-спуманто» и поэзией д'Аннунцио, переведенной на различные языки, двести или триста вдохновенных тел репетировали посмертное разложение. 20-ый век, таким образом, и в этом хотел перегнать 18-ый. Моторная лодка несла по сети каналов мечтательного биржевика. Две смерти смешивались. Небо же было зеленоватой выдумкой, может быть, лугами, на которых пасутся наиболее плотоядные из покойных дождей, может быть, газом с его общеизвестной формулой, скорей всего — ничем.

С мисс Мэри Оксвэр я познакомился на пристани, поджидая катер. Она грызла бледные фисташки и думала о красоте Большого Канала. В красной книжечке значились ведь все палаццо, а «Кад'оро» — тот был даже дважды подчеркнут крохотным стилем, помещавшимся в сумочке из тисненной кожи. Здесь она купила сумку? Конечно, здесь. Она купила также падающую пизанскую башню, целующихся голубков (пресс-папье), закладку с изречением Данте, аль-

бом с гербами всех древних родов для акварельных этюдов. Она уже успела занести в этот альбом гондолу и даже серенаду. Серенада не передавалась ни кобальтом, ни зеленой венецианской, ни индиго, она только чувствовалась. Но грех плохо думать о мисс Мэри Оксвэр. Зеленоглазое дитя! На зависть всем венецианкам заатлантические глаза были цвета неба Адриатики, фисташек, резеды. За эти глаза ей можно было простить все, вплоть до зарисовки усов серенады. А как она смеялась! Смех этот выпадал из Бедекера, напоминая всей каменной падали Большого и Малых каналов, что стоит поезду особенно настойчиво прогроыхать по длинному мосту, как скажется жизнь, не Венеция, не зеленоватость, не тишина стоячей воды, но все что угодно — автомобили, туннели, скачки, перевороты.

Мисс Мэри готова была скоро засмеяться, глядя в окна вагон-ресторана на город-утопленник. Ее ждал Париж. Веселое дитя, шаловливое, баловень солнца и валюты. Все улыбки были у нее плюс аккредитив в «Америкэн-Ллойдс».

Она плыла в черной лодке, траурной, как бессмертная кляча наших сухопутных похорон, плыла и смеялась. Глаза и вода составляли одно. Иногда сопровождал ее Джузеппо Мафичи. Это черное имя ответственного сотрудника фашистской газеты «Империо» не раз упоминалось в связи с убийством Матеоти. Кроме того, Мафичи лично руководил недавним нападением на народный дом в Падуе. Впрочем, мисс Мэри не разбиралась в политике. Синьор Мафичи умел насвистывать «шимми» на манер серенады и он покорно носил покупки вплоть до брюхатых пятилитровых фиасок, покупаемых как сувениры. Дитя же смеялось. Вождь венецианской оппозиции, «популист» Бельвотини шептал друзьям об аккредитиве «Америкэн-Ллойда» — аннексии фашизмом зеленоглазых долларов. Но так как дело происходит в Италии, я решаюсь сказать, что политика не мешает известным чувствам развиваться. Самая что ни на есть сентиментальная любовь, достойная прирученных голубей и мраморных серенад, обосновалась под черной рубашкой. Среди помоев и роз Ренессанса, останавливая водяную клячу, Мафичи утрумо повторял: «идол мой»!», «моя звезда»! «моя

смерть»! а Кассиопея Джакомо Казановы, наблюдая эту традиционную сцену, взволнованно моргала своим единственным, воспаленным от бессонницы глазом. Мисс Мэри смеялась.

Что оставалось делать бедному Мафичи? Писать горячие стихи на футуристический лад, в которых каждый слог звучал древнее Горация, есть слоеное мороженое или же кормить пшеном голубок, неспособных даже отлучиться от руки, вследствие полноты и сердечной грусти? Идеи явно требовали другого. Газета «Имперо» что ни утро шуршала о твердости римских легионеров. Джузеппо Мафичи должен был презирать запах Венеции, серенады для иностранцев, чувствительную любовь; ведь он считал себя рожденным властвовать. Маленький рост и худосочие никак не мешали подобным планам. Стать вождем, вроде Бенито. Напасть на Корсику. Завоевать Грецию. Если позади лишь погром в Падуе и десяток-другой мелких убийств, то ведь он еще молод (26 лет). Лавр обрамляет предпочтительно лысые головы. Он должен действовать. Мрачные остановки на поворотах глухих каналов это описки. Ах, если бы зеленоглазая мисс была «народным домом» в Падуе!..

Золотушный убудок «Совета 15» и маскированных ревнивцев, последний гнилой зуб этого старческого рта, как в плащ, кутался в габардиновое пальто и вяло мечтал об американке. Он хотел завоевать всю Европу. Он тихо и поэтично умирал, полулежа в наемной гондоле.

Иногда он переезжал на остров Мурано. Там он воевал с ветряными мельницами и обыскивал пожилых рабочих. В жаркие майские дни это было некоторым облегчением, чем-то вроде «кассаты».

Мурано — сер и неприветлив. Фабричные гудки не отличаются музыкальностью гондольеров. Романтика радужного, как нефтяные лужи, стекла уничтожается скрытностью далеко не стеклянных глаз. Как ни воевал Мафичи со стенами, с длинными стенами фабрик, на них неизменно значилось двойное «VV». «Да здравствует». Что это означало? Хорошо памятен 19-й год, когда даже на отвесных вершинах Сардинии, выведенное рукой полудикого пасту-

ха, стояло это двойное «VV». Неужели страшный кремлевский монгол, лежа в парадном холодильнике Красной площади, еще продолжает править миром? Маляры не раз перекрашивали дряхлые стены Мурано. Надписи вновь выступали, как кровь незаживающих ран. Дуло револьвера готово было искрошить камень. Любовь усиливала безумие. Неудачный завоеватель, Джузеппо Мафичи плыл назад, очень бледный, в черной рубаше, мимо острова-кладбища, к чересчур насмешливой мисс. Гондола его была нагружена не лаврами, но яростью и зеленым полупрозрачным сном.

Я не знаю имени третьего героя этой исторической мелодрамы. Думается, Мафичи много дал бы за это имя. Человек этот общался с ногами. С ногами — проще. Им можно легко вернуть девственность. Словом, он был вульгарнейшим чистильщиком сапог, подбирая роняемые солдаты и слова. Смех его, громкий до неприличия в этом зеленоватом морге, ничем не уступал смеху мисс Мэри, хоть у него и не было аккредитива. Очевидно, у него было нечто другое. Может быть, сны. Сны о мире по ту сторону длинного моста, где автомобили и перевероты. Его руки умели изумительно быстро ласкать бархатом лакированные носки. Умели ли они писать? Неизвестно. Как-то расплачиваясь, я по ошибке дал ему советскую монету. Он поглядел и засмеялся. Джузеппо Мафичи при этом не было. Влюбленный легионер, что он тогда делал? Пел серенаду, доводя фокстрот до мленья цветущей воды или же, как голодный волк, тупо носился взад и вперед вдоль длинных стен унылого Мурано?

Был праздник — какой в точности я не знаю. Много их — католических святых, битв в Трентино, королевских и полукоролевских именин. Когда спала жара, на площадь святого Марка прибыли анахореты Лидо. Кафе «Флориан» кичливо встретило их перечнем своих исторических заслуг и повышенными ценами. 163 года — таков возраст кафе в этом городе беззаботных покойников. «Кассата» подавалась, как картины Лонги, не хватало лишь подписи маэстро где-нибудь на блюдецке. За несколько лир каждый был дожем. Из труб музыкантов вылетал серпантин танго. Другой, бу-

мажный, рвался к звезде Казановы и пугал переваривавших пшено голубей. Птицы дремали под крышей собора, этого, кажется самого уродливого изо всех хранилищ хищного золота, черепных костей и ханжеских шепотов. В отеле «Рома» был маскарад, и проходившие по площади «домино», толстозадые арлекины, сорокалетние пастушки приковывались бумажными цепями к пошлым мозаикам, к петушиным перьям оркестра, к престарелым камерреро кафе «Флориан», которым может быть тоже все 163 года. Сотни каналов, подступая со всех сторон, несли на эту площадь сырость и смерть. Здесь же музыкальные цирюльники эту смерть быстро гримировали. Как? Две мушки и роза? Или черная шапочка сотрудника газеты «Империо»? Не все ли равно? Двадцать магазинов — лилий на свиной коже, кораллов, стеклянных амуров, вазочек, брошек с видами, открытых писем, банк для тех, у кого аккредитивы, четыре кафе, собор, музыка, серпантин, а над всем этим Кассиопея и прочие туманности — к услугам любого банкира, маклера, интенданта, торговца чулками, синильным газом, священной историей, белыми рабынями, к услугам всех жаждущих надеть на опостылевший череп черный, как адриатическая ночь, бархат полумаски и заставить позвонки играть по нотам, разложенным на пюпитрах.

Я сидел за столиком кафе «Флориан», пил лимонад и знакомился с новым костюмом моей давней знакомой. Там, на востоке, я ведь часто встречал ее в простой одежде, если угодно в «прозодежде», над деловым лаконизмом подбираемого (или неподбираемого) тупа. Рядом со мной Джузеппо Мафичи одиноко глотал зеленовато-розовую «кассату». Мисс Мэри с ним не было. Вероятно, ее пригласили в отель «Рома» на маскарад. Толпа размывала столики и черная шапочка Мафичи то всплывала, то гибла. Я, кажется, сидел в поезде и слушал освобождающийся грохот моста. Путь этот, хоть и воображаемый, был прерван чистильщиком. Приятельски улыбнувшись, он принялся за мои туфли, которые в городе воды и вздохов не могли даже как следует запацкаться. Вновь задумавшись, я опомнился лишь от суматохи. Глупо ковыряя револьвером вылощенные пли-

ты площади, Джузеппо Мафичи кричал. Любопытство и страх, как озноб, то сводили, то ширили толпу зевак. Двойное «VV», выведенное черной краской на камне, объясняло бешенство дула. Незаконченная фраза как бы дописывалась негодованием сотрудника газеты «Имперо». Я почувствовал холод январских ночей, снег, угрюмость вятских или пермских ходоков, все вплоть до приветствий курултая. В склепе поддерживают ровную температуру. Часовые и полевой телефон. Нет, он не умер. Он действительно «здоровствует». Кто здесь начал повторять отчеты Цика? Может быть это смерть в кринолине пастушки по ошибке вытащила из моего бокового кармана серенький паспорт с традиционными лозунгами?

Пастушки, впрочем, не было. Зато рядом стояла маска. Она стояла и смеялась. Смех этот решил все. Он показался обезумевшему Джузеппо Мафичи знакомым, как росчерк двух «VV». Оторвавшись от плит, револьвер метнулся к черному бархату.

Обитатели отеля «Эксцельзиор», танцовавшие танго на костюмированном балу, гадали, где же мисс Мэри Оксвэр, под какой маской удалось ей укрыться? Через четверть часа паника на площади святого Марка улеглась и «камерре-ры» кафе «Флориан», гордые еще одной живописной морщинкой, выпавшей ста шестидесяти трех годовалому заведению, поплыли с блюдецками акварельного мороженого.

Несколько дней спустя (ждали каблогаммы из Филладельфии) три черные гондолы поплыли по каналам. В первой лежала мисс Мэри Оксвэр. Она больше не смеялась, но глаза ее, зеленоватые глаза смешивались с водой. Джузеппо Мафичи плыл следом. Он не получил этих уже незримых глаз, как и не завоевал Корсики. Он глядел на воду, неподвижную и неприязненную, полную миазмов отчаявшихся душ. Гондольер длинным веслом, как когтем вампира из легенды, царапал зеленую кожу. Сзади ехали управляющий отеля «Эксцельзиор» и представитель Америкэн-Ллойда. На поворотах путешественники останавливались и слушали надрывный плач рассекаемой воды.

На маленьком острове, по дороге к Мурано, расположены кресты, мраморные слезы и вуали безутешных вдов, терцины Данте, фотографии в медальонах, цветы, умирающие от соли моря и от соли слез. Здесь главное производство мертвого города, его форум и его будущность. Последняя серенада воды. Встреча продавца фальшивых кораллов и их покупателя, примиренных естественной тишиной, отсутствием судебных ходатаев, чернью, более глубокой, нежели маскарадный бархат ночей на площади святого Марка.

Очередное поколение, двадцатый век, вытеснив прародителей, здесь учится вечности и обдает туристов своеобразным дыханием тех, чьи имена внесены на сусальную помпезность монументов.

Но даже этот остров встретил Джузеппо Мафичи злой издевкой. На входных воротах, где кладбищенские правила, часы открытия, такса для торговцев венками и питьевой водой, та же рука, рука муранских стен и рокового паркета бросила свежее и еще теплое, как груз первой гондолы, двойное «VV». Что оно значило на воротах кладбища? Какие провода соединили этот вымышленный островок со склепом Красной Площади? Гондольер, тот испуганно перекрестился. Два других тихо выгрузили из лодки длинный ящик с запасом зеленых глаз и непонятого смеха. Но Мафичи кинулся в бой. Снова из кармана выскочила черная морда. Человека, однако, не было. Ни рук, ни смеха, ни маски. Камень ворот переходил в камень могил. Он приплыл сюда. Дальше плыть он не мог, этот конквистадор с серенадами, последний любовник Венеции.

Тогда револьвер неожиданно сменился простым карандашом. Фраза была наконец-то дописана: к «Да здравствует» присоединилось еще одно слово: «ничто». Зигзаги букв говорили уже об агонии. Дописав, Мафичи вошел в распахнутые ворота. Около шести пополудни гондола доставила в город управляющего отеля, представителя банка и шаблонный полицейский акт. Джузеппо Мафичи в ней не было.

ПИВНАЯ «БЕРЛИНЕР КИНДЛЬ».

Пиво, как известно, пенится. Это пенится горькая немочь. До чего же оно горько, немецкое пиво! Пенится оно издали, среди геометрии проспектов, среди целлулоидных воротничков (тех, что идеально моются — «Семпер» или «Глория»), среди всей этой неоспоримой вечности. Кстати: проспекты следовало бы обозначать цифрами, высокими знаменателями точности и горя, чтобы на углу, где обязателен сигарный магазин, этот оптический мираж мнимой Гаваны, безбровых приказчиков, а также трехминутных телефонных разговоров, вставало число — «94», «317», число домов, поворотов, душ, дней, число пенящихся немочью кружек якобы вагнеровского гиганта, число, с точностью до одной тысячной, немых слез, выделяемых любым немцем, музыкальным немцем, гордым воротничком «Семпер» или «Глория» (до войны 43, теперь 39), немцем, одиноко дожевывающим под ацетиленовой луной дешевых пивных, дешевых баллад Лейпцигского издания свою сигарную абстракцию.

Следует доехать (трамвай 57 или подземная) до Штеттинского вокзала. Там много сходных и равно приемлемых улиц. Уже издали видно, как пенится пиво. Из глиняной кружки выползает голый младенец с улыбкой преждевременного Канта. Подобно кенигсбергскому плуту он склонен утешаться звездами наверху и разумом внизу. Звездами? Да, конечно, их немало, хоть и сказывается кризис топлива, этих ручных — газовых или электрических — звезд, окружных поездов, звезд конфекционных или кино, наконец, родительских пивных. Что касается разума, то в виде карманного мультимпликатора (прочный переплет под крокодиловую кожу), он общедоступен. Естественно, что младенец улыбается. Он поднял крышку. Его розовая кожа — подделка, строго преследуемая законами других государств. Не добротное мясо скрывает она. Это только пивная пена, выдумка страны, где ходят на свободе, пользуясь трамваем 57 и дру-

гими, сумасшедшие математики, коэффициенты цветных манишек без рукавов, карманные фонарики в виде револьверов, сигары, неожиданно высывающие язычок графита, резиновые конфеты, которые можно жевать несколько десятков лет (а ведь продолжительность жизни берлинца в среднем равна $34 \frac{1}{2}$ годам) — мысль, как таковая.

Не следует забывать о местных обычаях. Розового младенца зовут «Берлинер Киндль», это дитя Берлина, и не раз к его немочи прибегали сухие губы одного из обладателей воротничков «Семпер». Две пары философически невинных глаз совокуплялись под этим рожком. Обладатель «Семпера» глядел на трамвай 57, который доходит до Кенигс-алле. На этой улице был как-то застрелен министр Ратенау. Обладатель пил вечером пиво. Замечая же за лирической слезливостью стекол чьи-то дымчатые очки в круглой черной оправе, он взволнованно приподымался и восклицал: «господь с нами!» или «еще кружку» или « $6 \times 7 = 42!$ ». В восемнадцатом году противосолнечные очки выручили генерала Людендорфа. Если его превосходительство и не ходит в пивные, срезая усищами пену один, без соглядатаев, то здесь наверно присутствует его астральное тело: 5 воротничков на положении вербовщиков тайного «союза», открытки с видами Дорнского садика и курятника, наконец, химически чистые слезы, рождаемые довоенной географической картой и ветром, невыносимым ветром, способным вызвать насморк даже у статуй Аллеи Победы. Это отнюдь не мистицизм — астральные тела в Берлине отличаются чрезвычайной реальностью, они способны покупать в магазинах Титца или Вертгейма легчайшие чемоданы из папьемаше и есть яблочное пюре. Смерть одевается здесь весьма корректно, не пренебрегая даже вечным воротничком. Разве это не трогательно со стороны смерти? У нее, разумеется, докторский диплом. Вероятно и младенец, выползающий из кружки, может быть назван без лести «господином доктором». После десяти кружек пива, перебиваемых время от времени «шнапсом», то есть картофельным спиртом, белобрысые зеркала над стойкой оказываются заселенными новыми персонажами. Подумать, какая удача — за 2-3 рент-

ных марки можно очутиться в кампании доктора Мабузо (передний план, два электрических дула вместо глаз) или же доктора Калигари, занятого очередным удушением гуттаперчевой Энхен. Удивляться нельзя, удивляться даже неприлично. Вежливость обязывает оплачивать подобные зрелища лишь повторной порцией «темного» или «светлого».

Есть не рекомендуется: слишком много крутом душевных эксцессов. Кто же не помнит процесса мясника Гармана, который предпочел психологические глубины вульгарной телятине? Осторожно! Что, если хозяин пивной тоже доктор? (А он, наверное, доктор). Не следует быть легкомысленным в вопросах ужина. Тираж переводов Достоевского неестественно велик. Конго и Ангола начисто отобраны союзниками. Пиво же пенится. В итоге можно получить шницель по-голландски, большущий шницель, величиной чуть ли не в эту, опять-таки обкорнанную, провинцию, обложенный алюминиевыми кильками и кубиками мыла (предполагается сыр), живописными пятнами воображаемых желтков, прекрасный шницель, напоминающий лучшую телятину, только несколько слаще ее, получить, съесть, а потом, сквозь одурь замедленного пищеварения и сигарного ада заметить — Энхен-то исчезла!

Сдурю сболтнули — немцы отличаются благоразумием. По миру ходит добрый десяток таких легенд, может быть, и полезных для передовиков газет или для авторов новелл из иностранной жизни, однако, весьма неточных. Кастильцы, эти голубоглазые и, скажем прямо, туповатые быки оказываются подвижными брюнетами. Добродетельнейшие француженки, преданные «национальной» двуспальной, а то и полутораспальной кровати, занятые адюльтером исключительно для упрочения карьеры супругов, гуляют по всем кафе-шантанам вселенной в компрометирующем дезабилье. Раздел помещичьих земель курскими мужичками не подается в Европах иначе, чем как особый славянам присущий «мистицизм». Что касается немцев, то бритые губы пациентов доктора Калигари заклеены «благоразумием». Коэффициент манишек таким образом легко сходит за развитие индустрии. Когда же лиловая грудь, лишенная рука-

вов и спины, бросается из витрины магазина на зазевавшегося пешехода, многозначительно верещит по соседству аппарат кино, и все вместе именуется удачной съемкой.

Конечно, вербовщики знакомы с планом Дауэса. Однако, хоть дымчатые очки и сданы давно в национальный музей, ибо его превосходительству незачем таить больше свои изумительные рачи («раки с Одера») глаза, вербовщики продолжают вербовать. Еще 300 воротничков! Плакать? Неистовствовать? Аккуратненько убивать? Излишнее любопытство может повредить чужестранцу. Пока Энхен не исчезла, лучше полюбоваться ее икрами, этими гранитными цоколями, по-военному затянутыми в лососяные чулки из растительного шелка. Бывают и опасные разряды тайного снаряжения, не обнаруженного ни одной контрольной комиссией. Страсть, как пиво, выползает наружу перламутром слюны. Отсутствие чувства меры и условная привлекательность посетителя (хотя бы умение вовремя ущипнуть или флакончик духов из Карлсруэ, наслоенных на резеде и на пахучих жучках) доводят икры Энхен до пресловутого тевтонского азарта, губительность которого хорошо известна тем же пикардским пашням.

Преступность здесь не концентрируется и не поддается определению. Любой злоумышленник Берлина, обнаружив на панели ценный браслет, способен отнести его в полицейский участок. К персидской бирюзе присоединятся касания ангелических зрачков. С другой стороны, что сказать о воротничке, который прикончил министра? Был летний день, вдоволь сухой, и не раз губы отстегивали белые воротнички глиняных кружек. Преступник? Однако, та же Энхен готова лобызать грубые тесемки его кальсон, бессознательно копируя средневековую фреску. Возможно, что у него имеется и вид Дорнского курятника с августейшим автографом, что он всеми уважаем, что он, наконец, доктор. Преступность здесь — воздух, хоть и очищаемый патентованными пылесосами от выбиваемых (по пятницам) ковров, но населенный подозрительнейшими флюидами, преступность здесь — вода, горячая по субботам, когда гении и воротнички гениев тщательно моются, холодная — незримой, но не-

изменно значащейся в гидах Шпрее, преступность — пивная пена, сок солода и хмеля, слюна «Берлинского младенца». Два пола (не считая педерастов), изобретатели, престарелые метафизики, фальшивомонетчики, поставщики публичных домов Бразилии, комми солидных гамбургских фирм, сотрудники полицейпрезидиума и доктора, разумеется, доктора, много докторов входят в пивную, садятся, пьют пиво, уходят. Все они явно бьются над той же проблемой, и возглас « $6 \times 7 = 42$ » равно внятен всем.

В углу, возле стойки (к прискорбию, мраморная доска еще отсутствует) обычно сидел неопрятный воротничок, вечный, с вечным же галстуком, сползавшим на живот и трепетно там метавшимся, как мотылек стихотворца. Имя: Иоганн Шпруде. Возраст: не точный, но вечный, как и воротничок, замаранный давно, еще в школе при первой теореме о равенстве равноугольных треугольников, с того же дня не изменившийся. Верхняя губа Шпруде была изуродована — китайский нож в пивной Бремена. Китаец, получивший два года исправительного дома, очевидно, в душе был философом. Губа, рассеченная с поразительной точностью на две части, только сильнее подчеркивала симметричность природы, эту теорему, предшествующую даже равенству треугольников. Больше о Шпруде сказать нечего — он пил и «темное», и «светлое», уважая дымчатые очки, порой почтительно читал «Роте Фане», глазами же проделывал километры среди геометрии проспектов, перебегая от икр Энхен к вихлявости пудренных мальчишек. Он определенно томился, рассеченной губой, как пылесосом, жадно захватывая неопределенный воздух. Если в августовский вечер, когда варящийся в котлах асфальт и недобрая влажность блузки Энхен заставляли рты со скрипом раздвигаться, вбирать в себя глину кружек, к одному воротничку подошли два других, в этом нет еще ничего удивительного. Но каким образом бременский китаец превратился в померанского фона? Что случилось с самим благородным наименованием «Шпруде»? И при чем тут Иоганн, не Шпруде, а Боргард, видный негоциант, занятый, несмотря на заградительные пошлины, упрочением германского влияния в Мес-

сопотамии? Если спросить голого младенца, он не ответит. Правда, у него кенигсбергский разум, но вывески ведь не разговаривают. Они только зовут и думают, думают и зовут. Скорей всего младенец позвал к себе Иоганна Шпруде. Сделав это, он задумался. Он думает до сих пор, купаясь в материнском пиве.

Пострадала жена и не Иоганна Шпруде (по галстуку было видно, что тот холост), нет, Иоганна Боргарда, настоящая жена, хорошая жена, госпожа Анна Боргард, преданная, если не считать губы мужа, пижамам и теориям доктора Фрейда. Еще недавно она надевала пижаму, обыкновенную, вдоволь сумасшедшую пижаму, черную с оранжевыми пятнами, как брюхо тритона, или же артистическую, полную мудрых плоскостей и томительной души поставщика модного магазина, художника Лешке, прошлой зимой повесившегося, надевала, ждала, засыпала. Ей снился всегда орех. Как будто в этом не было ничего страшного. Орех, ну орех. Но нет же, он был страшен в своей обособленности и бессмысленной значимости, орех вне всего, даже без щипцов, орех, как таковой, точный и четкий орех. Вот отчего днем, мучительно разлагаясь на софе модерн, исколотая нарисованными углами и жалами набивки, она беседовала с доктором Фрейдом. Пострадала именно она, госпожа Боргард. Ее удушили, ее, кроткую и податливую, похожую на шарик, скатанный из хлебного мякиша крысообразным посетителем плохонькой кухмистерской. Из-за каких-то запонок, глупейших запонок с дымными, далеко не первосортными бриллиантами. Причем защищала она не караты, то есть не марки, хотя бы рентные, но нежные росинки, серафические волдыри, украшавшие манжеты горячо любимого Иоганна, когда этот почтенный негоциант, между двумя отлучками в Мессопотамию, предавался семейному уюту: салату и селедке с яблоками, китайским теням в кабаре «Гертруда» и обозрению различных пижам. Иоганн находился далеко, очень далеко от Траутенауштрассе, дальше, чем пивная — в Мессопотамии. Схватив шкатулку, Анна закричала. Было темно, но звуки опасны и в темноте. Вполне понятно, что пальцы посетителя не отпустили мягкой шеи.

Два воротничка, пившие предварительно «светлое», подошли к третьему. Несколько формул легко уместились в пивной, никак не озадачив клиентов. Пена по-прежнему мучительно выползала из кружек, и Энхен даже не переместила икр. Иоганн Шпруде сам вынул из внутреннего кармана жилетки две посредственные запонки. Но когда один из подошедших воротничков захотел присоединить к ним часы, сверив номер на внутренней крышке с многозначным числом, каллиграфически проставленным в записной книжке Иоганна Боргарда, Иоганн Шпруде возмутился. Он безропотно отдавал запонки, вынесенные из тишайшего дома на Траутенауштрассе, где остались успевшие обрасти пылью трюмо, карликовые кактусы (живут без воды) и все пижамы покойной госпожи Боргард. Но часы... Часы всегда находились на нем. Часы — не предмет роскоши, это — сердце, второе сердце, и они неизменно сопровождали почтенного негодянта при его поездках в Месопотамию.

Здесь все посетители пивной «Берлинер Киндль» замолкли и светила многих глаз, помноженные зеркалами на бесконечность, потребовали философических восторгов. Младенец едва держался на плоской кружке, ему хотелось соскочить вниз и, поцеловав порхающий мотылек вечного галстука, поблагодарить Иоганна (без фамилии), то есть обоих Иоганнов. Точнее: пивной пене хотелось распространиться. Громкое дыхание Энхен, эти 78 кило, введенные в гранит конфекционных набережных (Вертгейма или Титца) и мерно содрогавшиеся, подтверждали сдвиг сознания. Все чувствовали приближение к разгадке, включающей и «светлое» и «темное», даже дымчатые очки, даже астральность манишки.

Иоганн Шпруде не отдал своих часов, и это в порядке вещей. Гораздо труднее, не прибегая к языку поэтов из группы «Штурм» или дуговых ламп (лампы говорят ежедневно с 9 до 9 в музее Почты и Телеграфа), объяснить почему Иоганн Шпруде решил взять свои запонки ночью. Это неудобно. Это связано с опасностью. Это и недешево обошлось ему: Иоганн Боргард оплакивал скоропостижную кончину госпожи Анны Боргард, урожденной фон Лихштейн, в 14

траурных анонсах «Фоссише Цейтунг» и «Локаль Анцейгер». Тюрьма. Возможно, что и смерть. Да, конечно. Но опыт стоил подобных расходов. Манишка без рукавов пленяет отнюдь не дешевизной, а противоестественностью облика. Вивисекция разрешена и производится открыто, для пытливого же духа госпожа Боргард отличается от морской свинки лишь пижамами, неизвестными среди грызунов. Притом война обошлась много дороже. Два воротничка с уважением глядели на третий, хорошо понимая, что дело не в запонках, а в двойном бытии.

Итак, губу рассек (еще в 1904 г.) некто фон-Лютер, студент Кассельского университета. В крохотную комнату гамбургского Сан-Паули время от времени входил негоциант Иоганн Боргард. Он садился на одинокий табурет, долго и громко вздыхал, присоединяя к ходу часов ход своего внутреннего томления, потом отрывал не менее сорока листиков настенного календаря с афоризмами Канта, Шопенгауэра и даже Шпенглера, снова вздыхал, проверяя часы и полчасы, наконец, приступал к установке вечного галстука. Остальное же было в точности известно двум воротничкам, как например, ограбление вдовы Эльзы Браунер, зверское убийство в Галензее семьи банкира Крампштека, семь краж со взломом и прочее. Поражает скромность Иоганна Шпруде. Следует говорить о подвижничестве. Две-три кружки в пивной «Берлинер Киндль» и только. Ясно, что Иоганн Боргард кончил Кассельский университет с дипломом доктора философии.

Вздохи в камерке Сан-Паули доказывали, что он достиг многого. Он мог бы покрыть тысячи отрывных и настольных календарей вполне оригинальными мыслями. Однако, в этой стране не останавливаются на полпути. Любой афоризм Канта, любой вздох, любая звезда, электрическая или ацетиленовая, может быть, и кино, требовали большего, — то есть последнего рассечения. Так за кружкой «светлого» (или «темного») родилась великая мысль напасть на самого себя. Траутенауштрассе, № 9. Если пострадала при этом госпожа Боргард, то здесь сказывается лишь вдохновение. Руки, въедаясь в птичью шейку, проверяли строение

костей. Глаза же оплакивали, они выделяли солоноватую влагу, как глаза любого немца, даже того, что прикрывает этот процесс дымом стекляшек. Соединение рук и глаз, убийцы и трогательного супруга, запонок и галстука, являлось уже чисто техническим. При полной раздвоенности — известное сложение частей, хотя бы для того, чтобы пить «светлое» (или «темное») — и в этом отсутствие догматизма.

Когда один воротничок был увиден двумя другими, все посетители пивной, те, что в зале и те, что в зеркалах, сосредоточенно молчали. Только 78 кило Энхен пролепетали: «добрый вечер, господин доктор». Они были, разумеется, правы — кто же не назовет этот августовский вечер «добрым»? Стоит ради такого вечера потревожиться, стоит из западных гигиенических кварталов, похожих на шпинат или минеральную воду, направиться (трамвай 57) сюда. Младенец ведь знает все. На его розовой ручке кто-то вечным пером записал: « $6 \times 7 = 42$ ». Может быть это успел сделать увиденный двумя сотрудниками полицейпрезидиума двойной Иоганн?

Что касается пижам покойной Анны Боргард, то они достались ее свояченице, госпоже Ландскнехт. Орех же неизвестно кому.

N. В. Если поместить в газетах («Фоссише Цейтунг» или «Локаль Анцейгер») анонс: «ищу двойного (можно даже раскошелиться — тройного) бытия», вечерняя почта принесет не менее 30-40 конвертов. Энхен, различные Энхен будут предлагать кино с доктором Калигари, совместный отъезд в Месопотамию и даже шницель по-голландски. Осторожно! Среди них обязательно будет один «доктор», и это не Калигари — другой.

БИСТРО НА УЛИЦЕ МОНЖОЛЬ.

«Fleurissez vous!», кричат торговки, подталкивая тележки с прессованными фиалками. Затруднительно перевести это приглашение. В счастливой стране от цветов образуются самые различные глаголы. Притом стоит это немного. Это напоминает дешевые издания Ронсара, пролезающие в узкие окна окраинных домов, где газ и вода во всех этажах, где гофрированная морковь и прилипчивый пух перин волей-неволей воспринимают глупейшие сочетания отсутствующих в обиходе вещей, называемые «рифмами». С поразительной легкостью распространяются цветы. Их тираж непомерно велик. Можно сказать, что любое сердце, вплоть до расширенного сердца служащего городской канализации, нуждается в этом поэтическом сырье. Они всюду — в астматических «Ситроенах», в погребках метро, где запах фенола и нарисованные гусыни предохраняют человеческий материал от разложения, в духоте женского жира, решительно всюду. Их движение эпидемично. По улице Сантэ (вопреки названию вмещающей тюрьму и госпиталь) около девяти утра ползет тележка. Цветочная инфекция забирается в окна. Среди белесости предсмертных декораций, среди йодоформа и точных до миллиметра суставов сиделок, начинается буйствование непереводаемого глагола. Кривая температуры, побивающая рекорды, выручает — из пятен, из плотности воздуха, из оранжевого кипения в глазах создаются наспех левкой или же астры, ровно за 24 часа до того часа, когда, уже ненужные, они явятся наряду с анонсами и племянницами к начинающему попахивать грузному корпусу. В осторожных окнах отчетливо распускаются сухожилья натруженных рук, как японские игрушечные цветы, брошенные в воду. Там из клочка похищенного света, и иногда из серой обертки казенного табака трудолюбиво изготавливаются оранжереи. Все это повторяется ежедневно около девяти утра и может быть проверено каждым. В конечном счете улица Сантэ, где 63 частных дома, ничуть не

хуже других улиц. Все улицы принимают торговку «четырёх времен года», то есть матери-природы (по Ж. Ж. Руссо). Кроме одной.

Улица Монжоль привилегированная. Любовь на ней отдает аскетизмом, она лишена лживого орнамента. Здесь нет ни фиалок, ни Ронсара и, пожалуй, это может привлечь пуритан, а также конструктивистов. Ничего лишнего. Даже поцелуи опускаются, как придаточные предложения. Каблограмма опытного журналиста. Доходя до угла улицы Монжоль, торговка «четырёх времен года» поворачивает назад. Времена года здесь отсутствуют. Более того, вряд ли здесь существуют года, по крайней мере, в нашем календарном представлении: парламентские сессии, юбилеи, годовщины, серебряные свадьбы — черепная шкатулка, до отказа набитая сувенирами. На улице Монжоль — любовь и смерть. Это ль не Аркадия?

По метро можно доехать до остановки «Бельвиль», а от туда минут десять, не больше. Вокруг — Бельвиль (какой невзыскательный юморист крестил улицы Парижа?), с его потными от нечистот домами. Нет здесь цивилизованных труб, и моча прямо просачивается сквозь прокисшую известь. Рахитичные головы детей, эти тыквы, источающие слюну и недоумение, машинально катятся среди помета, плешивых кошек и сентиментальных слез. Здесь изготавливаются папиросы из бурых обслюнявленных окурков, сальная картошка и уголовные романы Франсиса Карко. Кровь здесь не удаляется даже петитного набора. Она фамильярно смешивается с помоями, кровь разбитых носов, абортот, язв, кровь полицейских участков, темная венозная кровь Парижа. Бельвиль, однако, лишь чистилище. Даже слюна рахитика неуместна на улице Монжоль. Там жизнь без вступлений и без развязок. Кротовые норы по обе стороны вмещают все. 30 или 40 таких нор. Одно кафе. Иммиграция никак не затруднена. Работа. Потом — либо выселение, либо смерть. О смерти говорить особо не приходится — она всюду одна. Пожалуй, гнилостный дух и мокрая полутьма даже приличествуют ей. Выселяются же на фортификации, окружающие город, продавать вечерние газеты, подбирать на рынках порченную

репу или же просто гнить, путая ночных пешеходов чернотой оскаленного рта и подозрительным копошением исчезающего носа. Пока могут, держатся в норах, пропуская 3-4 посетителей в будни и не менее 10 в праздники.

Еврейский писатель Онойхи, недавно приехавший из Бразилии, рассказывает, что там дело организовано. Владельцы публичных домов после субботы (речь идет о благочестивых иудеях) складывают девушек на лед. Кровь останавливается — белые квадраты искусственного льда, предохраняющие баранину от разложения, выручают и человека. На улице Монжоль до того еще не дошло. Сваленные тела там оживляют пинками или ассигнациями.

Работают в две смены. Те, у кого тело хоть сношено, но еще держится, как заштопанное на скорую руку одеяло дешевого номера, функционируют от 3 пополудни до 3 полночи. Изысканная клиентура. Под утро же выползают бракованные. Рисовая штукатурка уж не скрывает трещин. Гнилой рот, спирали волос на подбородке и в ушах, наконец, фактура кожи, напоминающей детский шарик, который провел ночь в натопленной комнате, все это заслуживает сакраментальный дощечки «на слом». Чувствуется, что не сегодня-завтра подъедет сюда, кряхтя, своеобразный подрядчик в дураковской треуголке и потащит стоптанное, как панель, туловище в Пти-Иври или Бисетр, где длинный ров ежедневно принимает бедных, подобно столу, столь же длинному, евангельской трапезы. Это о смерти. Но ведь на улице Монжоль — любовь. Как же сочетать последнее с карнавальными личинами второй смены? Сходство с женщинами лишь топографическое. Это универсальность анатомического атласа. Однако, заходящие под утро не привередничают. Кафе, поганенький «бистро», тот, что в конце улицы, кальвадосом — яблочным спиртом, или маром — настоем на выжимках, наконец пиконами — хинной горечью в 78 градусов, подготавливает к мудрости. На голубоватом огне алкоголя, истребляющем печень, сгорают и века цивилизации. Национальная Библиотека, Лувр. Жест прост и внятен. Кусок хлеба не сопровождается тостами старейшин «Клуба гастрономов». Ронсар, даже в виде почтовых марок, не прони-

кает сюда. Фиалки остаются потусторонним понятием. Вторая смена скромно работает.

Бистро достоин всяческого уважения. Это — синтез. Кости двух игроков, падая с недобрым треском на цинк стойки, устанавливают право счастливица еще раз пройтись по горячему и мягкому, как асфальт в июле, телу. Черный пикон не смягчается лимонным сиропом. Его непоколебимые градусы наполняют голову тропической сухостью. В небольшом подвале жизнь доделывается, и по многу раз в течение одной смены одиннадцать склизких ступенек низводящего винта напоминают Марго или Жанне о рвах фортификаций, где облезлые старухи кряхтят ноябрьскими ночами, также о других рвах — Пти-Иври или Бисетр, где постой покоен, а дождь уже неощутим.

Почему Жанна оказалась во второй смене? Ведь ей было не больше тридцати пяти, а улица Монжоль — почти Академия, там пятьдесят — пора зрелости. Часто лицо Жанны, освещенное несколькими рюмками и газовым рожком, выдавало детскую простоватость. Тогда, останавливаясь на одной из знаменательных ступенек, она беспомощно пела:

«Южень наш срезал пух на носу,
Чтобы сделать модную шляпу...»

Так ведь пела визгливая карусель — свиньи в голубых чепчиках, хохотушки-коровы, даже крокодил, ненормально добрый крокодил, похожий на нотариуса, даже старик-хозяин, даже кляча, приводившая в движение всю эту семейку, плюс десяток девушек и озорников, плюс озорство, как таковое, любовное озорство вульгарнейшего мая в деревне Ляклош, департамента Нижней Шаранты. Южень, мастеривший модную шляпу из собственного пуха, голубком порхал над крокодилом, над девушками, веселя до колик, приступами смеха кидая свежий творог грудей в руки находчивого парня.

Что значат ландшафт, география, года? Почему задания. Ко всему Жанна была больна, правда, не узнав об его модной шляпе, посетитель, 78 градусами «пикона» и близостью

финиша доведенный до испарины, неожиданно останавливался? Нога, покинув одну из нарезок, погружалась в воздух, а глаза по великолепию могли состязаться с фарфором. Они все же были человеческими и, глядя на Жанну, пытались найти некоторое объяснение — справку о проглоченных настойках или хотя бы улыбку. Однако, лицо девушки лоснилось исключительно блаженством. Об Южене общал ангел, произведение Фра-Беато, придурковатый философ, пропитанный восторгом и ультрамарином. Вдруг на лопатках, на жалких лопатках одной из второй смены, под вонючим, хоть и живописным тряпьем, прорастают крылья, белые и мохнатые, как у рождественского гуся. Винт выручал — не раз клиент взбирался наверх, отплеываясь, рыча, задыхаясь, неся он по улице Монжоль, преследуемый сарафическими трубами, руганью девок и гнойным рассветом.

Перевод во вторую смену становится более понятным. 19 лет практики не создали искусства. Вместо соответствующих вздохов гость получал вскрик прерванного сна или смех, смех наивный до слез, смех перед крокодилом-нотариусом, отнюдь не заразительный, откровенно говоря, даже невыносимый, здесь, в подвале, где койка, где земля (мать-земля) и коптящая лампочка, эта Венера сентиментальных сердец, говорили об ясности задания. К всему Жанна была больна, правда, не той болезнью, которой интересуется санитарный надзор. Она гнила тихо и безобидно, не представляя социальной опасности. По всей вероятности, у нее был рак желудка. Впрочем диагноз произволен — никто этим не занимался. Требовалась лишь осмотрительность — изо рта женщины шел нехороший трупный запах. Хотя в часы второй смены пять чувств притуплены, на всякий случай Жанна прятала рот в тюфяк, стараясь дышать мимо. Это никого не удивляло — ведь в меню «быстро» поцелуи не значились. Поцелуи оставались на углу вместе с фиалками и с марками Ронсара.

За пределами улицы Монжоль торговли «четыре-х времен года» меняли цветы и овощи. Не раз уж фиалки перебивали сиротливую пестроту астр. Шли, очевидно, года. Жанна держалась на том же месте, не срываясь во рвы фортифи-

каций. Плохо ли, хорошо ли, она еще работала. Конец, впрочем, намечался. Как-то она сказала Марго:

— Знаешь, я скоро умру.

— Болит?

— Нет. Но мне снилась чечевица. Чечевица и дождь. Очень много дождя. Мне скучно. Вот ты увидишь, я обязательно умру.

В шестом часу утра 12-го мая 1924-го года в кафе на улице Монжоль пришел Бинэ, кассир гастрономического магазина Дюмуа. Конечно, он мог бы выбрать более приличное заведение. Получая 900 кроме премий на дороговизну и уделяя любви не более двух часов в неделю, можно позволить себе роскошь, вплоть до Ронсара. М-г Бинэ, хоть и жил в Бельвиле, никогда не снисходил до улицы Монжоль. Но на этот раз ночь шла винтом. Не ощущая дистанции ноги скользили. Началось с кино, с глупых очков Гарольд-Ллойда. Далее оказались сослуживцы и последовал вовсе непредвиденный ужин. Суп с сыром. Перед этим «пикон» — естественно. После же, повторение его следует объяснить выпадением, бутылкой-другой «божол», наконец (и это верней всего), воспоминаниями. М-г Бинэ нашел редкостный случай еще раз рассказать о сапе в Аргоннах, а ведь все уже знали об этом, знали назубок, решительно все, при одном упоминании образовывалась каникулярная пустота. О чем же говорить Бинэ? Как удовлетвориться консервами и окороками магазина Дюмуа? У него военный крест. Дважды он был упомянут в приказах по армии. Он в сапе... Да, да, в сапе. И если об этом уже все слышали, то здесь трагедия, здесь скука Жанны, здесь тоже смерть на носу, хоть и без чечевицы. Рассказ длился долго и Бинэ приходилось оплачивать его регулярными возвратами «пикона». Горы блюдец образовывали новую Вандомскую колонну. 78 градусов работали. Они-то и привели м-г Бинэ на улицу Монжоль, они же и опустили его ниже, с пустовавшей Жанной, по известному винту в затхлость подвала. Не различая, где он, м-г Бинэ попробовал было снаивничать.

— Курочка!..

Но на кощунственность подобного обращения ответила

лишь лампа, грузно выдохнувшая вихрь черных снежинок. Жанна же дышала в войлок тюфяка. Тогда м-г Бинэ понял и замолк. Он был в сапе. Военный крест. Два приказа. В конечном счете, все это не так страшно. Это пугает только в рассказах. Смерть? Ну, смерть! Любовь? Что же... М-г Бинэ обойдется и без «курочки». Он уже, кажется, обошелся. Но что это?..

Лучше было бы Жанне самой перебраться в один из рвов! Ни чечевица, ни дождь не сулили ничего хорошего. Пренебрегая явной маститостью посетителя, которая сказывалась хотя бы в лиловых шелковых подтяжках. Жанна запела, глупо, если учесть минуту, гнусно запела, сама не понимая, к чему это, кружась как карусель, как хохотушки-коровы, рукой тщетно хватаясь за отстегнутую сирень над брюками, запела от острой тошноты, уже не в тюфяк, прямо в лицо м-г Бинэ, в белесоватость обкорнанных усиков:

«Южень наш срезал пух на носу,
Чтобы сделать модную шляпу...»

Никто не упрекнет м-г Бинэ в трусости. Однако, приходится учесть семь или восемь пиконов, винтообразность ночи, копоть ламп, главное же, трупный смрад, вылетевший вместе с Юженом из гнилого нутра и сразу установивший тождество подвала с бесплатными рвами Бисетр. А шляпа? А модная шляпа? Можно ли было ее вынести? Лиловые подтяжки повисли на перилах. Нос героя Аргонн отливал опаловыми капельками. Он бежал по улице Монжоль, бежал с трудом. Ноги, отделяясь от зловонной жижи рассвета, затвердевали, и в этом был комизм замедленной фильмы. Особенно же левая нога. Здесь сказывались не одни хинные градусы. Очевидно, имелся физический недостаток. Каждый прыжок выдавал огромное напряжение, мучительный взлет души приказчика гастрономического магазина Дюмуа, не желающего лечь в даровую яму.

Ведь за ним бежала женщина, да, та самая женщина, с Юженом. Трудно понять ее. Было ли это длящимся кружением карусели? Срочной настойчивостью конца? Снилось

же ей чечевица? А, может быть, просто корысть? М-г Бинэ сбежал, не выплатив обещанных ста су. Как бы он сам отнесся к покупателю, взявшему бесплатно банку консервов?

Расстояние уменьшалось. Икры крестьянки из Ляклош, департамента Нижней Шаронты, хоть и тронутые распадом, постояли за себя. На самом углу улицы Монжоль, когда м-г Бинэ был почти спасен, когда, расставаясь с модником Юженем, он уже возвращался к налаженной жизни, к магазинам, к желтым афишам бельвийских театриков, к банкам, к писсуарам, Жанна настигла его. Она поскользнулась, успев лишь вцепиться в левую ногу м-г Бинэ, в ногу, явно отстававшую при перелетах, в ногу вполне корректную (каштановый носок, зашнурованная туфля, подвязка). Тогда-то оправдался сон, неоцененный Марго — нога осталась. Нет, это не сон — нога с носком, с туфлей, с подвязкой, поскрипев, отделилась, как клешни рака. Нога осталась, а м-г Бинэ завизжал и, уподобляясь безумному аисту, стал старательно прыгать вдоль стен, хватаясь за выступы домов. Он пренебрег ногой, прекрасной искусственной ногой «Арс» (магазин — 23, бульвар де Бонн-Нувель). Что поделаешь — он много пил в ту ночь. Он спасал жизнь. Разве скромный приказчик гастрономического магазина Дюмуа не знает четырех времен года, их щедрых торговок? Сердце, бумажник, тоска одноногого кассира, то подпрыгивали к небу, то падали на недодобренные еще мусорщиками трупы истекших суток. Наконец, они столкнулись с длинным, вроде библейского жезла или палочки полицейского, хлебом, с первым хлебом опоминающейся булочной, который знаменовал день, жизнь, металлический кашель кассы, иногда «пиконы», иногда и Ронсара, выволоченную из сапа Аргонн, выволоченную изо рта улицы Монжоль жизнь этого мечтательного плательщика налогов.

Жанна же осталась с находкой. Как объяснить страх, рождаемый ногой «Арс»? Показать соблазнительные улыбки и взволнованную розоватость грудей в витрине, означающие только воск, плавкий воск средневековой массы, еще, может быть, — 49 франков 50 сантимов, то есть цену не лишнего кокетливости комбинезона? Или нет, сравнить хо-

лодок, стальной холодок крючковатых пальцев, заключенных в обыкновенный носок каштанового тона, с римской ночью, с подозрительнейшим населением этого города, состоящим из бородатых старцев, полнотелых дев, кабанов, рыб — всех равно неподвижных — пять или пятнадцать веков той же улыбки, того же, якобы порывистого, объятия, сравнить усовершенствованную ногу с мучительной выдумкой искусственных звуков, с церковной латынью, с играми Малларме, с логарифмами?

Бедная женщина из второй смены! Как страшно ей было умирать на углу улицы Монжоль, прижимая к догнившему телу не руку Марго, не пучок фиалок, хотя бы и воображаемых, но эту стальную клешню, хитро сгибавшуюся в суставах, нарочитого червя, который, казалось, уже вел за собой братские орды столь же гибких и скользких, промышляющих в общих могилах Пти-Иври или Бисетр! Нет, ей не снились хохотушки-коровы, лубочное счастье деревни Ляклош. Глупо выпученные глаза не могли даже остановиться на небе. Хорошо, когда имеются звезды, эти знаки препинания, или же режущее белки солнце. Но в тот час небо было лишь воздухом, газом, как известно, лишенным окраски.

Нога «Арс» знала последующее — ее отнесут в пахнувший табаком и сапожной мазью полицейский пост Бельвиля, регистрируют под номером таким-то, под высоким номером человеческих находок и вручат m-г Бинэ. Тогда она снова будет проверять длину улиц, размеренное веселье фильм Гарольд-Ллойда, приятную горечь «пикона», цену сардинок, смак еженедельной любви, точное содержание жизни в 280 или в 290 страниц — до войны 3 франка 50, теперь же 7 франков 50 (если считать на золото, и сардинки, и романы, и жизнь стали дешевле). Нога знала. Жанна нет. Обычно наспех проглатываемые последние страницы, то есть казенный возчик и кляча, интригующая своим домино, оставались еще не разрешенными. Номер регистрации, тоже высокий, номер районного морга — еще неопознанным. Так она умирала. Так она и умерла, здесь, на углу улицы Монжоль, не смея переползти предполагаемой гра-

ницы, как не посмела переступить ее и хрипая торговка «четырех времен года», которая в урочный час подкатила тележку с прессованными фиалками. Остановившись на углу, она прокричала над комом попорченного мяса, над долговечностью ноги «Арс», над свежевыпеченным хлебом рабочего дня свое высоколирическое и вряд ли переводимое: «Fleurissez vous»!

«РОТОНДА».

На углу, где скрещиваются бульвары Монпарнасс и Распай, на историческом углу, причастном к Циммервальду, к кубизму и к Большой Медведице, стоит обреченный полицейский, тщетно пытаясь форменной пелериной прикрыть дрожь. Обилие ихтиозавров, палитр, вшивых хасидских бород, американских напитков и мясистой сутенерской флоры различных Уругваев способно напугать не только ротозея в кепи. Что значит эта надпись — «Ротонда»? Диван, на котором сидел некогда Троцкий, откуплен коллекционером из Филадельфии. Стены заново выкрашены. Мигуэль Унамуно, мечтая о демократической республике, сосредоточенно потребляет кофе с молоком. Абстрактная живопись солдируется. Спешите! Остатки! Дешевле материала (сердце не в счет)! Привезенные одним из многотысячных сыновей патриарха Кука, липкие миссис присасываются щупальцами лорнеток. Гид в рупор простуженно лает. Уругваец легко сходит за Рафаэля в молодости. Под натиском автомобилей и шведских крон пугливые музы скрылись. Они проживают нелегально. Явки в бельвильских притонах или фешенебельных дансингах квартала Этуаль. Обыскивать не рекомендуется — вдохновение быстро проглатывается, как папиросная бумага.

Искусства нет. Остались его окрестности. Кафе «Дом» (все тот же угол, та же пелерина зябкого полицейского). Старая норвежка, похожая на обезумевшего моржа, выдает творчество размеренными ударами плавников. Пунш. Против стортинга. За корабль Рембо, даже без спальных кабин.

Сто натурщиц, однажды вылепленных и каждое утро подкрашиваемых, истязают глаза плагиаторов. Только старый кокаинист не хочет их копировать. Он выбрасывает длинные на шарнирах руки к зыбкости форм и плачет. Преждевременная импотенция перерождается в ход безотносительных рифм.

Искусства нет. Его выдумали для рекламы. 600-700 космополитических кретинов. Растущая от каждого глотка кофе, от каждой рифмы, от каждого натюрморта рента кабатчика. Локти (ледоколы) лакеев. Агитация. Полиция. Большая Медведица. Вернисаж. Самоубийство канадского фермера. Русский боров, критикующий па балета, окружен сосунками неоклассицизма. Сто су взаимности. Фокстрот. Незаметные заплатки. Американские автобусы — «Нью-Йорк — Кроссота».

На углу стоит она. Клюв и печальные глаза, длинные, очень длинные, до ушей. Пьет коньяк с зельтерской. Откликается на вздорную кличку «Кики». Это благосостояние Монпарнасса. Интервью во всех газетах мира. Иногда она поет, зловеще вращая животом, как творец глобусом. Мотив церковен.

Есть люди, которые — падаль.

И сладчайший Иисус. Он пахнет одеколоном...

Длинноглазая смерть биссирует непристойности, скрепляя их запахом ладана и пота.

Спой, Кики! Мы знаем все. Мы ели суп с сыром. Мы читали копенгагенские газеты. Датчане тоже за неоклассицизм. Датская крона сегодня 3.40. У натурщиц шелковое белье и больные почки. Спой, Кики! Ты продаешь бумажные шарики, зеленые и красные, ты хорошо поешь, узкоглазая смерть.

Все любят эти песни, все кроме Лео Ляга. У него свое строго профессиональное отношение к смерти. Музыка здесь ни при чем. Поглядите на ногти Лео Ляга, на длинные загнутые ногти, ярко-оранжевые от табака. Рыжий пиджачок в талию с ленточкой, и запах, густой запах духов, не просто — духов, которые что-то прикрывают. В его квартире на улице Катрофаж рамы, рамы, рамы, двуспальная кровать, а над ней полочка — стихи Мюссе, йод, колбаса с чесноком, духи и кукиш. Кукиш этот вылеплен из хлебного мякиша самим Лео Лягом и препротивно раскрашен — ярко-розовый. Лео Ляг слит всегда в парике, от песен Кики ограждаясь талмудической мудростью и регулярным употреблением лактобациллина.

В «Ротонде» он, впрочем, занимается другим. Его при-

ближение к столику означает деньги и смерть, две карты — бубновая семерка, десятка пик, оранжевые ногти, бумажник, диагноз, скорей всего, туберкулез. Разрешите представить — любитель живописи, меценат из Бухареста, окончивший йешибот (настоящая фамилия Лейхес), почетный легионер и прочее. «Куплю — продам» — это главный шурум-бурумщик вдохновения, маклер, оперирующий закрашенными холстами и смертью. Ленточка в петлице жалуется не всякому. Лео Ляг потрудился для преуспевания современной живописи. Его мутно-зеленые, как мокрота, глаза отличаются прозорливостью. Среди тысяч полотен он находит нужные, помеченные волнением и низкой ценой. Но это не все. Става, назойливая и безапелляционная слава, похожая на духи Лео Ляга, слава, о которой бредят, медленно глотая маленькие (ах, слишком маленькие) хлебцы, клиенты «Ротонды», неоклассики или постдадаисты, изготавлиется на улице Катрофаж в квартире бухарестского халдея, где розовый кукиш и чесночная колбаса. Он умеет ее делать, Лео Ляг. Он умеет взять скромного мальчика, полного бессонницы и нищеты, который покрывает старые холсты формулами гнилых яблок и одной, все той же, верной, как сентиментальная любовница, бутылки, взять его, отсчитать тридцать или сорок рам, выписать чек, поддержать, подумать, кокетливо повилять придатком рыжего пиджака, и вот имя мальчика, жалкое имя ковенского портного или лильского нотариуса, никогда не выходившее за пределы двухэтажного дома, становится гулким, парадным, образующим от себя прилагательные, глаголы, последователей, доллары, наследие веков. Чему учили в старом йешиботе, с утра зажигая длинную свечу и линейкой выбивая из щек пыль голуса? Наивно объяснять успех Лео Ляга знакомством с критиками. Какой же торговец не подкармливает газетных привередников лангустами Прюнье? Нет, под розовым кукишем, нагло беседующим с небом, к живописи, к краплаку и к охрам, к имени, к рамам, к шейкам лангустов Лео Ляг, алхимик, аккуратно принимающий лактобациллин, применяет также смерть. Это тяжелая лабораторная работа, и теперь понятно, почему его ногти столь кривятся, когда на

углу бульваров Монпарнас и Распай показывается Кики, с ее похабными куплетами и чересчур печальными глазами.

Если эти оранжевые ногти впиваются в темное имя, ясно без врача — смерть на носу, а детали несущественны — туберкулез, рак или белая горячка. Можно радоваться: из карманов модного пиджака сыплются франки, хвалебные отзывы, лекарства, поцелуи женщин, ставящих вдохновение выше профилактики, венки похорон, восемь строк в грядущей «Истории живописи XX века». Что делать без Лео Ляга? Возможности весьма ограничены. Окраска художественных платочков для дам, это сближение влаги носов с великолепием палитры, оплачивается не свыше 12 франков в день. Музы, отлетов, не оставили бифштексов. Некоторые заняты ретушью увеличенных фотографий горячо любимых бабушек или внучат. Колебание семейных устоев, однако, свертывает и это производство. Можно, наконец, раскрашивать восковые манекены, трагических Гамлетов, щеголяющих коверкотом или запоздалых кокеток провинциальной парикмахерской, синью глаз рождать беспокойство и румянцем повсеместно распространять лирическую взволнованность. Но и это нелегкое дело. По мере того, как теплеет воск, рука с кисточкой начинает изменять жизни, приобретая геометричность движения и бесчувственность фабричного сплава. Быстро населяется мир усовершенствованными фигурами, рекламирующими покррой и тенью ресниц царящими удешевленное небытье. Так пропускают свиданья с живыми девушками, отодвигают тарелку, на которой стынут белые бобы, перестают узнавать звезды и друзей. Так сходят с ума.

Может быть Лео Ляг — лучше. Ведь они никому не нужны, эти чахоточные завсегдатаи «Ротонды», помятые шляпы, голодные глаза, рамы, натюрморты, те же гнилые яблоки, та же бутылка, агония довоенных споров (Дерен? или Пикассо?), охи миссис, бешенство гарсона, которому не заплатили за чашку кофе, знакомые, как виньетки стофранковых билетов, животы натурщиц (столь же доступные или столь же недоступные), кепи полицейского, развалины искусства, карикатурная Помпея, а над ней Большая Медве-

дица.

Только Кики еще нова и незачитана: «двум смертям не бывать». Итак, пой, Кики! Пусть покраснеет кепи полицейского от твоих похабных литаний.

Как он ждал ее песен, несчастный Жиль Нейра! Чахоточные легкие, дробные их остатки дышали исключительно этим сомнительным кислородом. Последняя страсть. Глянец зрачков, мелочь промотанных килограммов кидались в узкие щели всемонпарнассских глаз. Кики вращала животом, и жизнь Жилия Нейра в такт уходила. Два, даже три бутерброда уж не могли помочь. Красными чернилами скрепляла смерть на впалых щеках краткосрочные векселя и визу эту хитрый Лео Ляг знал лучше своей собственной подписи. Число приобретаемых рам росло. Выписывались чеки. Новое имя уже скреблось в том «Истории живописи». Картины — гнилые яблоки и бутылка — выдерживались на улице Катрофаж под вопросительной миной кукиша. В пробирке лежали талант и туберкулез. Лео Ляг сказал, что вскоре смешение этих элементов даст смерть и славу. Он никому не говорил о завтрашной знаменитости. Он прятал холсты даже от неприятных глаз консьержки, каждое утро выносившей из квартиры тоску постояльца и колбасную кожуру. Лео Ляг терпеливо ждал. Выгодна слава только мертвых. Тираж закончен. Редкие экземпляры растут в цене. Молодые, здоровые — это для простофилей. Когда сумасшедшее дитя Монпарнасса, Модильяни, этот ангелический орангутанг, издававший значительные крики ночной птицы, когда голодный Модильяни, питавшийся {в долг} макаронами старой Розали и дареными зернышками гашиша, изменил углу двух бульваров для так называемой «вечности», справедливость — меняла с аптекарскими весами и с курсами дня — стала обменивать его безглазые розовые мечты на франки и на автомобили, на увеселительные яхты и на загородные виллы. С глубокой признательностью Лео Ляг пожимал потную ручку Жилия Нейра. Он ошибался лишь в одном: он думал, что это рука Лейзера Кравца. Впрочем, может быть, это псевдоним, правда не особенно благозвучный. Ведь квартал требует условности. Даже смерть, повсю-

ду голая и лаконичная, как подпись на квитанции, как этот росчерк сведенных судорогой рук, здесь не брезгует ни косметикой, ни фарсовой кличкой. Кроме профессиональных обязанностей Кики продает еще шарики, красные или зеленые. Об одном из этих шариков мечтал несчастный Жиль Нейра, презабавнейший карлик с кадыком, который перевешивал головку. На его широкой шляпе дона Карлоса сидели поочередно все классики «Ротонды». Денег у него никогда не было. Не было и красоты. А слава находилась в инкубаторе улицы Катрофаж. За красный шарик он мог заплатить только щедростью лихорадочного пульса. Ходили ли на Монпарнассе эти биллионы? Ах, один шарик, один взгляд чересчур длинных, наглядно нарисованных, условных, как гнилые яблоки, как Пикассо, как «Ротонда», глаз! Что оставалось Жилю Нейра, с одиночеством и температурой в 38, если не волочиться за смертью? Ведь не он распространял яблоки до абсолюта, не он превращал старую литровую бутылку в любование веков, в стеклянную Форнарину. Этим исправно занимался Лейзер Кравец. А Жиль Нейра умирал. Из захолустья Португалии (да, и в Португалии имеются захолустья с отчаявшимися телеграфистами и с бредовыми кактусами вместо подсолнечников) привез он в «Ротонду», кроме гордой шляпы, не менее гордую мечту: стать киноактером, потерять третье измерение, любить, ревновать, умирать на экране, притягивая доллары и улыбки, глупую мечту карлика (рост 1 метр 48), туберкулезной обезьяны, слишком внимательно слушавшей, среди дребезжания аппаратов Морзе и цикад, заманчивые гудки экспресса Лиссабон-Париж, который не удостаивал ни Жили Нейра, ни кактусы хотя бы секундного замедления. (Замашки локомотива повторила теперь Кики). Его не взяли даже скромным фигурантом. Одна за другой двери кинофирм осмеяли шляпу и сны предполагаемого дона Карлоса. Ему пришлось стать фигурантом перманентной съемки, определяемой углом бульваров Монпарнасс и Распай, которая, увы, не оплачивается ни долларами, ни улыбками. Он положил шляпу, руки, захолустные фантазии на блохастый диван, между хасидской бородой и пластическим животом.

Он стал одним из камней этой Помпеи.

Если не считать снов, соприкосновение с искусством было исключительно территориальным. Жиль Нейра оказался подобранным, как яблоки или бутылка. Лейзер Кравец нашел, что кадык живописен. (Так был несколько восстановлен авторитет станционных кактусов). Португалец поселился в мастерской среди сырости и солнечного хрома, выходящего из тюбиков. Он стал частью традиционного натюрморта, равной бутылке, вечной бутылке давно потерявшей уксусный дух, мертвой и прозрачной. Портреты, впрочем, не переходили к Лео Лягу. Они валялись в углу. Мудрый скупщик не любил разбросанности. Лейзер Кравец значился в категории натюрмортов. Таким образом, он не смел глядеть ни на кадыки, ни на проблематическое небо. Мир его ограничивался тишиной и вечностью стекла.

Бутылка не разбивалась. Разбился Жиль Нейра. Последний свой вечер он провел, разумеется, на трагическом углу, поджидая Кики. Голова полицейского, как матовый циферблат часов, показывала глубокую ночь и отчаянье. Бациллы справляли победу. Подходя к финишу, пульс затмевал рекорды. С трудом одно легкое еще продолжало вкачивать туманы Монпарнасса. Наконец, Кики показалась. Ее живот вращался вокруг электрического солнца, а прогорклое контральто вещало о многообразии запахов. Она напоследок одарила романтического уродца бесплатным взглядом своих начерченных щелей. Тогда бедный Жиль Нейра услышал мистический дух одеколона. Он зашел в уличный писсуар и оттуда поглядел на Большую Медведицу. Час спустя Лейзер Кравец услышал собачье царапанье. Сил Жили Нейра хватило, чтобы доползти до угла, где жили яблоки и бутылка. Там кадык, агонизируя, еще несколько раз подпрыгнул, как красный шарик Кики. После этого наступило должное успокоение, и мертвая природа настойчивостью форм начала пытаться воспаленные глаза Лейзера Кравца. Утро узнало эпический разговор вбиваемых в дерево гвоздей. Не гроб изготовлялся для Жили Нейра, который, покинув португальский полустанок, так и не нашел местожительства (если опустить диван «Ротонды» и вечную жизнь),

нет, Лейзер Кравец, одержимый четкостью натюрморта и трудолюбием, набивал холст на подрамок. Кадык впервые стал вещью в себе. Породнившись с яблоком и с бутылкой, он вошел в профессиональный мир, где безумствовал этот вдохновенный баран, выдавливавший солнце из цинкового горла.

Кто прогадал? Воспитанник румынского йешибота или бутылочный любовник? Розовый кукиш или стекло? Оба просятся в еврейский анекдот для оживления дремлющих над яичной скорлупой пассажиров. Лейзеру Кравцу следовало бы переждать, может быть переехать в другой город. Однако, не говоря уж о железнодорожном билете, даже время — дни, предполагающие обеды, уголь для печки, четверки табаку, требуют капитала. Последние 200 франков, выписанные Лео Лягом, пошли на подыскание Жилу Нейра известного местожительства. Волей-неволей понес Лейзер Кравец натюрморт в «Ротонду». Лотерея раскрашивает сны бедняков. Над чашками кофе, над хасидской бородой, над черными тропиками негритянских волос висели цветные полотна. «Осторожно! Свежевыкрашено!». Посетители остерегались. Все же случалось — охающие миссис обращали кубистический молочник или неоклассический пуп на общедоступном животе в 100, даже в 200 чашек кофе. Жажда сказала — Лейзер Кравец повесил на стенку пышную раму, как-то приобретенную у сердобольного старьевщика. Бронза заключала верную до слез, до золотой свадьбы, бутылку, четыре яблока и продолговатую, как огурец, голову Жилы Нейра с живописным наростом усопшего кадыка.

На беду в тот же вечер, распространяя запах духов и смерть, Лео Ляг вошел в «Ротонду». Увидав лицо мертвого Лейзера Кравца, а под ним его же подпись, он не вскрикнул, не упал на всеприемлющий диван. Только длинные ногти въелись в мякиш прозевавших смерть рук и гнойные занавески век прикрыли глаза обманутого алхимика.

Многому учили в йешиботе, пока обрастала салом длинная свеча: мистическому значению букв «вов» или «ламед», изреченным и неизреченным именам, распознаванию по копытам недозволенных к еде животных, а по луне дней р-

адости и дней поста. Но ни там, ни впоследствии — спекулируя египетскими фунтами и звездой Сиона, изучая в Париже кубизм или под розовым кукишем размышляя о суете сует, Лейба Лейхес, он же Лео Ляг не предполагал, что мертвец способен написать свой автопортрет. Подобное открытие могло бы переродить его, заставить, простившись с модным пиджачком и с томиком Мюссе, уехать куда-нибудь в Буковину, где, питаясь сухарями и мудростью, цадик заставляют кур нестись, а грешников каяться. Трезвость эпохи сказалась, однако, в его дальнейшем поведении: с помощью гарсонов, натурщиц, каскеток, бород был обнаружен, оранжевым ногтем подманен и уведен на улицу Катрофаж, подлинный живой Лейзер Кравец.

...Виновато здоровье, проклятое здоровье, микробы которого еще никем не обнаружены. Лейзер Кравец мог съесть в один присест десять бифштеков. Он весил, даже в периоды голода и вдохновения, свыше 80 кило. Среди сырости и хрома он цвел, как буколический огород. Ясно, что этот товар не подошел бы Лео Лягу. За франками посылались убывающие фунты и мокрые ручки покойного Жиля Нейра. Это не трагедия, это только анекдот, еврейский анекдот для летней эстрады.

Но Лейзер Кравец, увидав табачные ногти и кукиш, не рассмеялся. Он ждал упреков, может быть, судебного иска. Лео Ляг молчал. В комнате пахло колбасой и многолетним унынием. Стульев не было и оба, опустившись на кровать, затонули в подозрительной зыбкости десяти пуховиков. Повернутые к стене рамы говорили номерами и сантиметрами объемов. Помолчав, Лео Ляг протянул Лейзеру Кравцу баночку с йодом.

— Вы оцарапали палец. Смажьте. Вот так. Теперь мы потолкуем. Я буду говорить с вами откровенно, как еврей с евреем. Нас слушают только розовый кукиш и господь-бог. У меня 68 ваших натюрмортов. Это богатство. Ваше имя вскоре станет громким, как мыло «Кадум», как аперитив «Бирр», как перья Виттермана. Но, само собой разумеется, вы должны умереть. Я не терплю живых покойников. Не возражайте — это бесполезно. Лео Ляг вам заявляет — вы

должны немедленно умереть. Как — это дело ваше. Вы можете уехать в Бразилию и заняться там педикюром. Вы можете приобрести на улице Риволи, 76, у адвоката Гулеску, румынский паспорт и, не покидая Парижа, стать отменным джаз-бандистом. Если у вас слабая душа и сильные нервы, вы можете проглотить эти пять граммов стрихнина. Вот порошок в аккуратной упаковке. Я не вмешиваюсь в ваши личные дела. Но художник Лейзер Кравец умрет сегодня вечером. Этого требует Лео Ляг. Этого требует слава. Ваш посмертный натюрморт станет предсмертным. Я плачу вам за него 500 франков — на билет, на паспорт, или на похороны. Я никому не покажу его. Зачем смущать суеверных людей? Я повешу его здесь над колбасой и над кукишем. Когда смерть придет и ко мне, я в последний раз взгляну на тщательно выписанный кадык и моя икота наполнится восторгом. Прощайте, молодой человек. До свиданья в вечности.

Острый ноготь, войдя в ладонь Лейзера Кравца, поставил точку. Об йоде думать не приходилось. Быстрый перебежка Катрофаж-«Ротонда» еще ничего не выражал. Поля шляпы совместно с полосами дождя скрывали от прохожих приятное решение. «Ротонда» увидела вопросительный знак, с которого лились струи воды и франки. Пили все. Хасидская борода плавала в шампанском, как мифическая рыбка. Животы натурщиц беременели сэндвичами и бенедиктином. Менялись ассигнации. Оставалось невыясненным, живет Лейзер Кравец или нет. Около двенадцати ночи гарсоны раздались. В нос ударил многообещающий аромат духов. Оглянувшись, Лейзер Кравец увидел над собой Лео Ляга, который гадко помахивал выведенным на прогулку розовым кукишем. Кто он, бедный Лейзер? Румын или мертвец? Это — кладбище или «салон красоты» в Рио де Жанейро? Упав на колени перед куском хлебного мякиша, Лейзер Кравец воскликнул:

— Я умер! Честное слово, я умер!

Лео Ляг удовлетворенно вилял рыжим хвостиком. Он пил сельтерскую воду, и удушаемый его костями сифон публично демонстрировал предсмертные хрипы очередной жер-

твы. В стакане пузырьки углекислоты, как душа Лейзера Кравца, рвались вверх, к славе и к вечности.

Переживший свою смерть художник выбежал из кафе. Угол значился как всегда и дрожь полицейского не иссякала. Остановившись возле синего кепи, Лейзер Кравец вынул из жилетного кармана пакетик. Великое искусство настаивало. Большая Медведица и огни «Ротонды» соединяли банальный жест с веками. Он старательно слизнул порошок сухим от горения языком, как слизывает воющая собака сахарную луну декабрьских ночей.

В «Ротонде» друг против друга сидели скупщик картин Лео Ляг и Кики (по паспорту «без профессии»). Он подсчитывал сантиметры натюрмортов. Он радушно смеялся, как добрый дядя, у которого все карманы набиты гостинцами: свистульками, тянучками, желтой табачной душой. Кики пела о срамных частях и о смерти. Он заплатил за ее кофе. Он горделиво показал ей розовый кукиш. Но когда в ответ она направила на него чертежи своих глаз, философ с улицы Катрофаж надел ритуальную шляпу и закачался, повторяя хорошо зазубренные в йешиботе отходные молитвы.

Ночь и полицейский плащ прикрывали лицо Лейзера Кравца. Это новый натюрморт поджидал своего живописца.

КОНДИТЕРСКАЯ САРОТТИ.

Шоколад Саротти. Сорта: горький, полугорький, молочный, с орехами, с апельсиновыми корками, с миндалем. Пралине. Трюфеля. 286 отделений в Германии.

Экспрессионизм — художественное направление. Портреты художника Кокошки размножаются тяжелыми снами. Замедленная фильма (60 съемок в течение одной секунды) позволяет даже пивным животам не трястись на обрубках ног, но плыть, наравне с рыбами и с фантазией.

Любовь — болезненный процесс перерождения тканей, иногда удешевленный тариф в мюзик-холле «Альгамбра», где трико летает на пылающих велосипедах по семи иллюзорным ярусам. Это связано с игривыми куплетами, со смертью, также с тридцатью марками за вечер. Провизоры еще ничего не придумали для предохранения душ, кроме химической формулы сирени.

Цианистый калий — совершенно в стороне, — для редких ценителей, с весьма и весьма ограниченным тиражом. Любители, впрочем, предпочитают его всем семи сортам шоколада.

(Таковы необходимые предпосылки. Они облегчают понимание странного происшествия, имевшего место в городе Магдебурге 17-го ноября 1923 г.).

Кондитерская Саротти торгует не только шоколадом. Вечерами она торгует менее всего шоколадом. Подаются ликеры, гуляш по-мадьярски, рейнвейн, шимми, папиросы с лепестками роз, даже любовь. Таким образом, это обыкновенное кафе. Обыкновенное? Не вполне. Обращаясь в клешни, стены сплющивают посетителя. Потолок забрызган кровью и фиолетовым поносом неврастеника средней руки. Объяснения следует искать не в уголовной полиции, но в строительном управлении Магдебурга. Какой город, таково и кафе. Оптическая алгебра, придуманная двадцать лет тому назад в мансардах Парижа, применена здесь на домах, на трамваях, даже на шоколаде Саротти. Честные дома

с черепичными крышами, свидетели любви Вергера и майского щебетания парламента во Франкфурте, подверглись злостному нападению. Благодушный лом не дал им забвения. Каменных стариков, гордых, как сюртуками, серостью и бюргерской скукой, нарядили в выпады балов художников, где синие прожекторы приближают к смерти корчи склеенных пар и рыгание буфетных. Это нельзя назвать росписью: скатерть после попойки или живот, разбрызганный снарядом. Маляры подносили сотни ведер, одно опаснее другого. В домах шла обычная жизнь. Господин Яррес изучал метеорологический бюллетень «Фоссише Цейтунг». Госпожа Яррес подмывала нежное тельце малолетней Мицци. А на подмостки уже взбирались голодные неврастеники в аккуратных фартуках. Они любили стихию и мечтали о ресторане «Цум Пферд», где гусыни ежедневно беременеют печеными яблоками. Они также ненавидели молоко, постановления бургомистра и обручальные кольца. Бром? Бром отсутствовал. Гусыни превращались в беспредметно чирикающих воробьев. Революция, распущенный, как чулок со спицы, синтаксис. Лесбос, джаз-банд, морфий пле скались в ведерках. Господин Яррес только успел пролепетать:

— Глубокое атмосферическое давление надвигается на нас со стороны Исландии...

Госпожа уже не подмывала. Дом содрогался, бесился, пускал по карнизам недобрую слюну. Зеленые и оранжевые кровоподтеки выступали между окнами. А ведерки уже передвигались к следующему дому. Эпидемия каменной проказы роста. Даже трамваи, эти юркие и пронырливые существа, не убереглись. Им выдали шкуры неких бегемотов, приснившихся педерасту Шульцу накануне самоубийства. Трамваи хотели было убежать в леса Гарца и заплакать, но пригвожденные к законным путям, они проделывали обычные рейсы, только мстя людям внезапным появлением бреда покойного Шульца на прямой, удлиненной электричеством улице, среди молочного шоколада Саротти и подмытых Мицци.

Кондитерская заболела в самом начале эпидемии. Ее предали Бруно Ширке. У фортов Вердена, где кал и трупная жижа цепенели тридцатитомной историей, оставил Бруно Ширке руку и память о детстве, с кеглями, с вишневым пирогом, с клеенчатым картузиком школьника. Продолжая одинокие сокращения, левая рука пыталась передать вселенной, звездам третьей и четвертой величин, шиберским пятачкам, отрывающим на Курфюрстендамме шоколадные трюфели Саротти, даже племенам Нубии и Того, решительно всем — отчаяние той ночи, когда в верденскую глину уходили кровь и память, отчаянье сына дюссельдорфского бондаря Бруно Ширке, узнавшего, что такое огромная ночь и сиротство. Левая рука писала стихи. Слова искажались до нежнейших междометий. Партитура траншей предназначалась для печати. Потом рука сжилась с рукояткой револьвера. Это было время космических драм и неожиданных, как снежки сорванцов, пуль очередной перестрелки, время Спартака, боевой чечетки, инвалидов и капиталов, по проводам улепетывающих в банки Амстердама. Наконец, она добралась до кисти, эта неумная рука. Ведерко с краской являлось взрывчатым веществом. Подвернулась кондитерская Саротти, где полугорький шоколад и ликер «маппедиктинер». Левая рука отомстила за гибель правой. Она произвела смещение мира, пусть и ограниченного площадью кафе. В человеческие споры она вмешала зыбкость стен. Она заставила потолок ежесекундно угрожать. Кровь и кал с берегов Мааса были перенесены сюда, для того, чтобы нарочитые рюмочки, эти кривляки с радужным посвечиванием, трепещущие на изломанных ножках, наполнялись бы, кроме приторного «маппедиктинера», всей сиротливостью ночи в окопе. Так расквитался с миром Бруно Ширке, ныне занятый составлением руководства для образцового вышивания и прочих ручных работ, предпринятого издательством Ульштейна.

Глубокое давление не раз надвигалось, отодвигалось, передвигалось. Таял шоколад, прижимаемый к небу. Патока ликеров свертывалась в желудках. Зеленые треугольники и сифилитический мрамор Бруно Ширке продолжали дефор-

мировать ослабленные напитком «шорли-морли» души магдебургцев. На том столе, что в правом углу, под розовой алебастровой гусеницей, представлявшей не то отнятую руку, не то пожирающее этот теплый урон гигантское насекомое, приветливо улыбалась семейная скатерть (в клетку). Стол этот охранялся для трех завсегдатаев, для трех закадычных друзей, неизменно отдававших свои вечера заразительному копошению алебастра.

Ганс Лютер был адвентистом и другом природы. Он ожидал в самом ближайшем будущем светопреставления, ясно различая среди ночи купальные трико (в полоску) почтенных коммерсантов Магдебурга, трепещущие перед трубой архангела. В то же время он тщательно подмечал первое услышанное им кукование, записи отсылая в «общество свободных натуралистов». Он ел торт со взбитыми сливками, молочный шоколад Саротти и, для оголения совести, вовсе безвкусный гашиш. Заметив в витрине магазина детские туфельки, невинные и безмятежные, как розовая ладонь архангела, он бумажным платком вытирал угреватый свой нос. (Платок по гигиеническим соображениям кидался в специальную корзину). Он никогда не знал женщин. Сбережения шли на покупку экспрессионистических стихов, в трогательных клетчатых переплетах, напоминавших скатерть кондитерской Саротти. Когда гашиш и розовый алебастр входили в силу, Ганс Лютер, слизывая с ложечки взбитые сливки, шептал:

— Жаворонки прилетели 21-го марта, старые жаворонки распутной Гретхен. Я хочу крикнуть всем семи сортам шоколада — человеческая жаба переваливается с лапы на лапу и гибнет. Вы думаете, что она хочет словить муху? Нет, она хочет вечности, вечности, когда нет ни прилета, ни отлета птиц. Вечность несет яйца. Адвентист Гомсер в штате Виргиния узнал от серафима и от хромой лисицы, что конец света произойдет 16-го октября сего года. Что же, 16-го октября я надену чистое белье. Но я не верю Гомсеру. Светопреставление не может произойти по календарю. Это не кукование. Оно должно быть вечным. Я скоро сяду на золотое яйцо, честное слово, господин Курт Пирт, я сяду на него.

Курт Пирт чуждался птицеводства. Он признавал яйца только глотая (для поддержания бисмаркской температуры) «кникебейн», то есть несмешивающиеся пласты розового весьма духовитого сиропа и картофельной водки, среди которых жалко барахтается сырой желток. Иногда оранжевые капли, как бы дождь раскрашенных Бруно Ширке стен, застывали на его коротких усах. Бритый квадрат головы, этот выдвижной ящик штинессовского бюро, был нафарширован шифрами и паролями. Вне безмятежных стен кондитерской Саротти усы часто пополнялись тщательно дезинфицированной бородой, а на квадрат возводился бархатный круг баварского аббата. Зато и угощал он, Курт Пирт. Возможности его превосходили жажду, рождаемую криками «hoch». Курт Пирт ненавидел алебастровую личинку. Он готов был отправить все фасады магдебургских домов в Палестину и не раз шептал о тайном обряде обрезания, совершенном над лордом Бальфуром. Германия померанской пшеницы, охот с перьями в шляпах и с оленьими рогами, уланов, солода, квадратная Германия еще агонизировала в нем. Отсюда конспиративные отъезды. Путч за путчем. Четыре убийства. Меняющиеся номера автомобилей. Ассортимент волос и ботинок. Еще один «кникебейн» за кронпринца. Еще один за Лорелей. Еще один за хвост, за древний хвост улана. Возможности безусловно были велики. Но никакие «кникебейны» не могли погасить тоску этой геометрической фигуры. Поздно ночью, когда семь сортов Саротти становились детскими воспоминаниями, когда полицейские просматривали, прикрыты ли все кафе (полицейштунде), протоколами ликвидируя алкоголизм и вдохновение, когда в потайных залах под шепоты скрипок тела горьких, полугорьких и вовсе молочных существ выделяли испарину отчаяния, в этот черствый час Курт Пирт признавался друзьям:

— Я хотел бы полюбить кого-нибудь пивной уланской любовью, чтобы рог рычал «ha-la-li!», чтобы свежевать, кидать печень и слезы остервенелым борзым, чтобы убить напоследок самого доезжачего. Пойти в салон госпожи Лобке к горьким или к молочным? Это маневр. Я устал от чужих

бород. Я хочу Лорелей и нежности. Если б у меня была сестра, я бы обязательно влюбился в сестру. Это против закона, но это сладко и плотно, как «кинкебейн». У меня нет сестры. У меня был брат. Он заслужил два ордена и смерть в Даксмюде. Когда прилетят ваши жаворонки, Ганс Лютер, я либо стану императором, либо убью себя.

Третий собутыльник возражал:

— Довольно крови. Она скверно пахнет, эта кровь. Она пахнет, как дешевая колбаса. Нужно заботиться о своем здоровье. Нужно веселиться. Разве вы не видите, что я веселюсь, я очень веселюсь.

Говоря так, он уныло глядел на зловещую пестроту потолка и пустым рукавом, этим обидным напоминанием конфекционного закройщика о гармоничности природы, как крылом обмахивал розовый алебастр. Ведь третий собутыльник был универсальным мучителем, отравившим все семь сортов шоколада, Бруно Ширке. Он устал и от живописи и от революции. Он хотел попросту жить. Но разве способен попросту жить сын дюссельдорфского бондаря, увидавший воочию смерть? Делались всемерные усилия. В столовой ложке отвратно желтел рыбий жир. Искусственное солнце из санатории д-ра Вайца ежедневно трудилось над фальсификацией румянца. Пары, вдыхаемые сквозь трубочку, имитировали сосновый бор, потеющий от зноя и счастья. Наконец, руководство по части рукоделия, отделяя сердце Бруно Ширке и его левую руку от каменного копошения отложенных яичек, диких слепых личинок, полосатых жужелиц, навозников Саротти, твердило крестиками, узорами, петлями о любви розовой, как форель бабушек, как носовой платочек фуксии в кармане готического окошка. Итак, Бруно Ширке берег здоровье. Он веселился. Уныло пустовали глаза. Уныло плескался лишний рукав. Ей-ей, — он веселился. Ежедневно от 9 до 12 ночи в кондитерской Ганс Лютер и Курт Пирт могли наблюдать это гарантированное от подделок веселье.

Дружба. Традиционная эмблема мочегонных пивных! Красота, наравне с рогами, с таксами и с задами педерастов империи Курта Пирта. Среди семи сортов вечера пол-

ные Шиллера и тишайшей отрывки! Все кончилось бы благополучно. Фабула рассказа никак не предвиделась. До 60 лет мог бы Ганс Лютер продолжать наблюдения над прилетами жаворонков и синиц. Светопреставление адвентистов ежегодно отодвигалось бы, как премьеры провинциального театра. Уланские хвосты продолжали бы томить воспаленный мозг героического Курта, не находя продолжения вне квадрата, кроме бутафорий исторических фильм. Введение твердой валюты сбрило начисто искусственные бороды, и текущий счет маскарадного убийцы начинал иссякать. Оставалось повеселиться на горе Лорелей под золотшвейной луной герцогов и курфюрстов, чтобы фиолетовый язык романтическим цветком гляделся в омраченный Рейн или (это тоже самое) глотать «кникебейн» в кондитерской Саротти. Что касается Бруно Ширке, то он мог бы левой рукой написать еще добрый десяток руководств: по доению бодливых коз, по обкуриванию фарфоровых трубок или по уклонению от подоходного налога.

Зачем вмешалась в дело любовь, химическая реакция, гастроль в мирном селе шарлатана с цилиндрами, из которых сыплются винные ягоды и поддельные червонцы, губитель людей, кормилица высыхающего пера беллетриста, шоколад, цианистый кали, жаворонки, пугч, пачкунья алебаstra и неба, зачем?

Frl. Эрна Оффен, кассирша кинотеатра «Траум», где весь день, весь вечер и половину ночи на экране безумные некроманты сжимали воображаемых Эрн, душилась духами «Иллюзия». По утрам она ела селедку и яблоки, стыдясь самого процесса еды. Она курила папиросы из табачной трухи с лепестками розы вместо мундштуков. Тело ее, считаясь с линией эпохи, сводилось к унылому профилю, еще, может быть, к щиколоткам. Грудь, этот аппарат архаических кормилиц, вовсе отсутствовала. Под кубистической брошкой находилось сердце, стихи Эльзы Ласкер-Шюлер и пустота. Иногда пустота наполнялась «маппедиктинером» и скандированными вздохами:

— Я хочу глотать индийскую коноплю и стать наложницей пророка Ганди. Мне надоели амфитеатр, ложи, пер-

вые и вторые места. Для того, чтобы есть шоколад, нужен кишечник. А у меня? У меня только тоска и серьги. Уведите меня в Бомбей. Подарите мне слона! Сон! Сон и ритуальные омовения!

Вероятно она ошиблась, вероятно у этой кассирши было нечто иное, помимо серег и тоски. Иначе, почему бы влюбились в нее Курт, Бруно, Ганс, все сразу? Пропали семь сортов. Жаворонки пели при пустом зале. Трижды издательство Ульштейна запрашивало о судьбе руководства.

Frl. Эрна Оффен оказалась холодной, как камбала Гельгоlanda. Сверкая чешуей серег, она выскользала из рук. Ганди или слон, но не Курт, не Бруно, не Ганс. Страстные монологи и «маппедиктинер» оплачивались лишь контрамарками в кинотеатр »Траум». Frl. Эрна интересовалась современной живописью, непротiwлением злу и теориями д-ра Фрейда, но не любовью. Когда ей было четырнадцать лет, ее дядюшка, магдебургский пастор, натертый бальзамом и благостью, цитатами из «Бытия» и «Исхода», заглушая писк познающей добро и зло племянницы, набожно растлил ее. Вкус к известным телодвижениям был этим отбит начисто. Предпочитали запахи и стихи. Будочка кино порой дрожала от чрезмерных вздохов зрелой кассирши. Однако, Курт Пирт, попробовавший было канцлерской хваткой привлечь к себе губы Эрны с их запахом «одоля» и духов «Иллюзия», оказался исколотым брошкой (в форме стилизованной антенны). «Нет, никто из них на мне не женится», уныло бормотала Frl. Эрна, соединяя холод малокровных губ с холодом одинокой подушки. «Они хотят, как покойный дядя Отто, читать библию и делать мне больно. Я накоплю 100 голландских гульденов и уеду в Индию. Там я буду прыгать возле капищ, как священная обезьянка». Окно комнаты, где латались ночные рубашки, где Frl. Эрна порой вздыхала не только от томности, но от приступов застарелого аппендицита, выходило на старую площадь возле ратуши. Оно было обрамлено язвами, синяками, гноем и кровью одного из коллег Бруно Ширке. Доходивший из погреба ратуши уанстеп нежно сочетался с псалмом, выбиваемым часами.

Глаза Бруно Ширке, как и глаза Курта Пирта, как и глаза Ганса Лютера постепенно мертвели, гипнотизируемые циклоповым глазом освещенного окошка. Дождь никогда не смывал красок. Напрасно слезы трех чудаков копировали звезды. Они никем не подбирались. Любой ювелир продавал булавки для галстуков по сходной цене. Любовь, как ошалевший паровоз, растерявший вагоны с нагрузкой дел и дней, неслась одна к подстроенному саботажниками или режиссером обрыву, немецкая любовь, пивная, тяжелая и чувствительная, любовь Вертера и уланов — жаворонки, светопреставление, вышивки, солнце из санатория, смерть.

Цианистый кали был приобретен Куртом Пиртом просто и деловито, как будто это горький шоколад Саротти. Он умел все находить, мудрый Курт — парики, отмычки, хлороформ, доллары, поддельные векселя. Он нашел и щепотку порошка, почти абстрактную формулу, которая одна на свете сильнее любви. Остальное было продиктовано дружбой. Смерти, как и любви, имелось вдоволь. Порошок был великодушно разделен на три части. Получив свою долю, Ганс Лютер элегично вздохнул. Итак, он опережает события. Простит ли страшный судья это нетерпение бедного немецкого школяра? В чистилище пахнет баней, и сердце там болит, как на узловой станции, когда ночь, пересадка и свистки. Он не услышит трубы архангела. Он не услышит даже простенького интермеццо гарцских щеглят. Да, но любовь не милует и адвентистов. Итак, сегодня, вечером, в углу, под розовым алебастром, среди семи сортов, трудолюбивый друг природы отметит внезапный прилет самой прекрасной из всех птиц, чье пенье вырывал из астматического органа великий Бах.

Только Бруно Ширке отказался. Зачем ему порошок? Он ведь был под Верденом. Он предпочитает шоколад или пралине. Он хочет быть здоровым. Он хочет веселиться. Курт Пирт не настаивал. Квадрат головы цепенел высоко, как памятник Германии на утесе, где немецкая река Мозель сливается с немецкой рекой Рейном.

— Если бы FrI. Эрн не хотела уехать в Индию, она полюбила бы меня или Ганса Лютера, но не вас. Вы — масон.

Вы заяц. Вы — палестинская пылинка на сапоге померанского улана.

Виновато улыбаясь, Бруно Ширке подбирал под мышку пустой рукав:

— Что делать — я хочу веселиться. Я слишком долго страдал.

FrI. Эрна истерически; взвизгивала:

— Любовь хороша у насекомых или у кафров. Мы должны жить снами. Во сне я становлюсь жирафом. Я глотаю тогда звезды. Вы слышите — это — танго. Звуки пахнут бананами и сомнениями. Я никого не люблю. Я умру с папироской в зубах, с дешевой папироской, обернутой в лепесток розы. Меня похоронят в заплатанной рубашке. Это не от бедности. Это от презрения к физиологии.

Бедная FrI. Эрна — ей следует простить и эту ложь. Сколько получает кассирша кинотеатра «Траум»? Где здесь выкроить не только на белье — на обед? «Маппедиктинер» принимался большей частью натошак, как и вся жизнь. После трех рюмок FrI. Эрна начинала сомневаться, и поэтому все последующие события памятного вечера, торжественный бас Курта Пирта, буколические трели Ганса Лютера, отсутствие третьего поклонника, натянутость реплик, разбитые рюмки, быстрый уход кавалеров в уборную, были ею восприняты, как естественное продление алебастровых выпадов, озноба стен, зыбкого, вроде одеяла тифозного, потолка.

Еще барышни, разносящие «шорли-морли», еще семь сортов шоколада, еще полицейский, ликвидирующий ночные безумства, ничего не знали, а химия уже побеждала любовь. На изразцах уборной рядышком лежали Курт Пирт и Ганс Лютер. Замирая, квадратная голова успела прижаться к редееющему сердцу натуралиста, обдав его ядовитой слюной и несколько запоздалой нежностью:

— Мы могли бы любить друг друга. Без женщин. Это против закона, но это чище и достойнее.

Слыша щебет жаворонков и херувимов, Ганс Лютер пролепетал:

— Там...

Книга была закончена, она подлежала огласке. Семь сортов посыпались на пол. Замарав стены, и без того полные крови и недоумения едкими смесями напитков, барышни всхлипывали на треугольных креслах. В дверях Frl. Эрна Оффен, хромая от ликеров и от страха, столкнулась с полицейским. Каска неодобрительна источала протоколы:

— Спокойствие. Порядок. Полицейштунде.

Frl. Эрне удалось вскочить в вагон последнего трамвая. Пассажиров не было. Рейса, остановок, цели — также. Поруганный бегемот нес свою призрачную шкуру по прямой улице, замороженной холодильником динам. Наконец, он изнемог, он замер, где-то у городской заставы, где водокачка, запах кожи и бездомные коты. Frl. Эрна вынесла в ночь брошку и ужас. Она села на землю. Она заплакала.

— Я хочу есть. Я хочу мясо, простое мясо с картофелем. Я хочу замуж. Я хочу ребенка, хорошего немецкого ребенка.

Над ней стоял Бруно Ширке, уныло моргая пустым рукавом.

— Frl. Эрна, они пьют «маппедиктинер» или они умерли?

— Они умерли. В кондитерскую Саротгб вошел полицейский. Они умерли слишком поздно, после «полицейштунде». Значит, полицейский составит двойной протокол.

Тогда, высоко вознеся шевиотовое напоминание о своей былой радости, Бруно Ширке прижал вдовью руку к козырьку каскетки.

— Добрый вечер, Frl. Эрна. Теперь поздно и пора спать. Я делаю все, что нужно для здоровья. Я веселюсь. Разве вы не видите, что я очень, очень веселюсь?..

«СВИДАНИЕ ДРУЗЕЙ»

Торговля — это окрестности сердца. Возле больничных ворот — гиацинты в горшочках и геометрия апельсинов. Вокзалы окружены фибровыми саквояжами, также открытками с наклеенными уже марками. Фотограф, стыдливо прикрытый черной фатой, — среди замалчивания листвы и далеко не разборчивых поцелуев Люксембургского сада. Шары провизоров, наряду с перинами «номеров» и с гитарами Ионеску, определяют Монмартр. Сентиментальный старьевщик, залатанные фуляры в окне, стопа серой писчей бумаги, солдатский табак, отстоявший Верден, и детская маска, — это на моей улице. А вокруг кладбища Пер-Лашез — молчаливые гранильщики и кабачки. «Легче пуха» шепчут по привычке и, суеверно озираясь, ищут стопудовое пресс-папье, чтобы письмо не улетело на волю. Покрепче, по-солидней, накинуть еще 10 сантиметров — фирма примет на себя все расходы. Здесь укрепляют не фундамент, а крыши. Город, наоборот, держится. Только в апрельские ночи, когда слишком много теплой темноты и взволнованных ливней, некоторая одышка приподымает добросовестные изделия окрестных мастерских. По всей вероятности, это — атмосферическое явление.

А живому, что ему нужно, если не перехватить знаменитую рюмочку? Грусть способствует жажде. Методически шепчут нищенки о сомнительном «упокое», оставленном на милость дождям и паразитам, а в кабачке «Свидание друзей» бутылка-другая уже склеивает, как синдетикон, оставшихся. Следует перевести это место, хоть и обложенное налогами, как питейное заведение, в разряд аптек. Спирт осушает промокшие одежды не решившихся из приличия раскрыть чересчур будничные зонтики. Слезы же испаряются, оставляя соль сплетен. Если по ошибке за шестой или седьмой рюмкой какой-нибудь свояк, племянничек, компаньон пробуют чокнуться с отложенным только что в сторону, друзья заботливо поправляют его. Одно имя легко пере-

ходит в другое. Ведь имена весьма однозвучны и чтение плит, этот древний том «Всего Парижа», напрасно не запатентовано, как лучшее средство от бессонницы.

«Свидание друзей» — аванпост жизни у самых ворот вражеского города. Успокаивающее сведение мистики нецивилизованных народов к некоторым профессиональным отправлениям. Кроме родственников и прочих сопровождающих, сюда заходят фигуранты этих весьма однообразных съемок: ревматические могильщики с мозолями землепашца из хрестоматии, которые жаром грога перебивают тяжелую испарину разворачиваемой глины, носильщики, занятые выгрузкой и нагрузкой, сторожа, в чьем ведении тысячи душ, платящих налоги, но не проявляющих себя ничем, кроме внезапных туманов и отмеченной дрожи апрельских ночей, наконец, главные герои, поставленные высоко, чтобы видеть и судить, красноносые кучера архаических автобусов (рейс произволен, остановки для принятия пассажиров непредвиденны). Лошади в протертых пополах остаются снаружи. Как провинциальные трагики, они никогда не разгримировываются. Меланхолично пережевываемый овес сопровождается шопеновским ржаньем.

А кучера пьют яблочную водку, нюхают табак, чихают. От спирта, от частых понюшек, от места — наверху, над венками, над носовыми платочками, над прорастающей в ящике бородой, которая больше не боится бритвы, — у них красный нос и больное сердце. «Свидание друзей», это — центр понюшек и философии. Разговоры о заработной плате, даже отчет о каком-нибудь скаредном вдовце, урезавшем чаевые, даже жалобы на погоду, — все здесь учит вечности. Пойти в такой кабачок значит пойти на свидание с подлинными друзьями, с последними друзьями, которые роднее оставленному под солидной плитой, нежели жена или любовница, чья пуховка уже поспешно забрасывает русла слез, как могильщик яму, роднее всех — неизменно красные носы, красные от табака и от горя припудривает лишь смерть. Бывает ли она здесь, эта героиня одного, но обязательного свидания, или же тщательно обходит вульгарный кабачок? Наверное, ей претят цилиндры и креп, как претит

поэту гонорарный полтинник искони восхваляемой луны. Далеко от этих ворот, где кровавые шары провизоров, вокзальная бестолочь, парочки, фейерверочно вспыхивающие под тремя глазами фотографа, назначает она свиданья, пришеивая к дыханию ландышей неотделимый запах хладнокровного хлороформа. Кокетство напропалую, достойное опереточной дивы. Беспрестанные намеки на возможность успеха, задевания, заигрывания, то в виде внезапной дурноты, то с помощью отчаянных перебоев уже вдоволь жаржавевшего сердца. Вместо любовных элегий — судебная терминология, техницизм отчетов об очередной катастрофе или латынь напыщенного медика. Порой вызовы становятся столь неделикатными, что вздыхатель тоскливо глядит на циферблат, хоть нагретых жаром его руки, но живущих особой жизнью часовиков, и принимается за сборы. Какой чемодан примет недолюбившее сердце? В идеально нейтрализованном номере чужой гостиницы он изучает план города, он ищет свое постоянное местожительство, еще не проставленное в паспорте. Странно бывает закончить тамбовский рассказ в Любеке или в Ливорно. За работой белая половина листа кажется более недоступной, чем все глетчеры. Фраза обрывается даже без запятой. Вероятно, кучер уже влезает на идиотические подмостки. Но нет, свидание откладывается. Неудачный любовник прощается с башенным басом, приподымает воротник пальто и пропадает в одной из боковых улиц, черных и стеклянных, как каналы.

Здесь ли ее искать, в кабачке «Свидание друзей»? Оставим мистику. Поговорим лучше о погоде. Удивительно холодная весна! У карнавальных «королев» после традиционного турне будут фиолетовые плечи. Бедняжки! Согреться грогом? Грог подорожал. Дорожает все, решительно, дорожает. А честным красноносым возницам не хотят накинуть ста су за изрядный конец с бульвара Монпарнасс до Пер-Лашез, под дождем, под ехидным чиханьем этой паршивейшей «этуали», фиолетовой, как плечи королев «ми-карема», но без плеч, без грога, даже без носа, в который можно напоследок засунуть понюшку позадористой.

Примерно так ворчал я, войдя в это заведение 19-го марта, часов около пяти пополудни. Заход был, конечно, нелогичен. Спутница моя, мулатка Фернанда, любя или спеша — Нанда, хотела выпить кружку пива. Виноваты романтические повадки и теоремы парижских улиц.

Так уходят из дома, оставляя на кушетке неразрезанной книжку «Красной нови». Так доходят и до кладбищенских ворот.

Если угодно, это — эпоха. Я уже чувствую приближение тридцатых годов (век в расчет не берется). Как гоголевский кучер (снова кучер!), я готов пофилософствовать насчет «того же самого места».

Странное существо эта Нанда. Она родилась где-то в португальских колониях. Серую кожу и копну супертропических волос она носит, как бальный наряд. Каждый вечер она читает вслух старой и строгой белой тетке незамысловатые рассказы Альфонса Додэ. Кроме того, она смеется очень громко и очень неожиданно. «Почему вы смеетесь Нанда?». Вопрос этот немало озадачивает ее. «Разве я знаю?»... С ней можно легко дойти до хищных ворот Пер-Лашез, до «Свидания друзей». Пиво, однако, следует пить в другом месте, менее содержательном.

Профессиональная любознательность ряда глаз оказалась жестче волос Нанды. Кого мы хоронили, кроме лимфатического дня и некоторых наивных фантазий, рожденных скорее всего разностью окраски? Хозяйка Гадес в шатеновом шиньоне, два могильщика, игравшие в кости (ради рюмки, ради отчетливых гамм на цинке стойки?), утешная (или без) вдова, чьи слезы соединялись с кислотой дешевого вина, главное, кучер, конечно же кучер, двууголка, яблочная водка, большое сердце, табакерка, красный нос. Все было в исправности.

— Нанда, вы не боитесь здесь нить пиво? Вы убеждены, что это питейное заведение, обложенное налогами? Вы убеждены, что в вашем стакане только сочетание воды, солода, хмеля? Вас не смущает хотя бы красный нос?

Мои слова являлись законным продолжением малокровных вздохов прогулки. Нанда в ответ смеялась. Звуки, вы-

ходившие из ее рта, напоминали о лубочной фауне, где лев легко сходит за обшарпанного кота. Я не настаивал. Я только вежливо отодвинул поднесенный Гадесом стакан и стал разглядывать маскарадную двууголку. Пожалуй, она идет к красному носу. Кстати, сегодня — «ми-карем». Что, если отнести это за счет карнавальных забав? Такие носы продаются в игрушечных лавках по десяти су за штуку. Большое сердце, вероятно, тоже значится в какой-нибудь распродаже.

Моя сентиментальная рассеянность заслуживает всяческого порицания. Я должен бы беседовать с Нандой об обозрении «Мулен-Руж» или о том же Додэ. На худой конец я мог бы заполнить десять минут, необходимые для поглощения пива, общедоступным эсперанто любовных изъяснений. Менее всего следовало глядеть на красноносого субъекта. Прицел был найден. Больше я не мог отвести огромных синеватых белков от этой пурпурной мишени. Нанда глядела и смеялась.

— Но какой же он забавный!..

Кокетливая парижанка, квартировавшая под серой кожей, показала хорошую выучку. Нужно было быть кучером известных процессий, тридцать или сорок лет с высоты торжественных козел обозревающим жизнь и смерть, чтобы устоять под артиллерийской подготовкой безмолвствовавших белков. Как она зазывающе улыбалась! Как гостеприимно распахивала массивные двери сухого рта! Кучер же глядел вдаль, сквозь заплаканные стекла на лоснящийся асфальт проспекта, по которому ежедневно передвигаются громоздкие дроги. Его руки не дотрагивались ни до рюмки, опустошенной лишь наполовину, ни до раскрытой табакерки. Они были искусственно скрещены, как на утомительных дагерротипах.

О чем он думал? О недоданных ста су? Или о захолустной вечности? Заметив, что кружка Нанды пуста, я хотел было встать. Но моя серая любовь капризничала. Она, видите ли, слишком много ходила. Длина некоторых улиц, также некоторых вздохов, утомила ее. Я сразу понял, что это отвод, что дело в красноносом профессионале. Вполне

естественная ревность (пусть наивная в подобном месте) красной краской прошла по моему лицу. Но с соперником я не сравнялся. Что оставалось? Побегать в лавочку за картонным носом? Сослаться на авторитет берлинского профессора, установившего у меня ослабление сердечной мышцы? Неожиданно перешел я на глупейшее положение сводника, который проделал добрых пять километров, чтобы свести Нанду с этим бесчувственным фигурантом.

Наконец, она заговорила. Среди гортанной сухости смеха отчетливо проступили слова:

— Скажите, вы сейчас кого-нибудь хороните?

Любопытство посторонних плохо расценивается в этом мире. Кучер ничего не ответил. Глядя мимо нее, он даже не моргнул. Любовь мулатки и траурного алкоголика проходила, таким образом, без слов, под хохот Африки, под физиологический стук игральных костяшек. Проекция душевных событий ускорялась. Не прошло и минуты, как Нанда переступила на «ты».

— Что же ты не пьешь?

Он не отозвался и на это. Может быть, больное сердце пережило нечто, но его сокращения не передались ни пальцам, ни губам, ни векам. Особенно меня удивляли круглые неморгающие глаза. С опаской я заметил:

— Он не моргает...

Нанда снова засмеялась. Как понять, что нравится женщинам? Какие чувства вызывали в мулатке эти изолированные от жизни зрачки, с их утомительностью лампы без абажура? Ее последний вопрос:

— А табак? Ты забыл, старина, о табаке? Чихни, ну, чихни хоть разок...

Встали мы сразу. Я хотел выбежать прочь. Монета была взяткой толстозадому Гадесу за жизнь. Нечего мудрить — я трусил. Неразрезанная книжка «Красной нови» казалась мне землей тонущего. Зачем я здесь до срока? Ведь эти симпатичные собутыльники еще не забрызгали черным тряпьем подъезд моего дома. Бежать! Ухватиться за спасительные поручни трамвая! Говорить о литературе! Даже пить чай! Только бы скорее отсюда... Но не к двери метнулась Фер-

нанда. Любовная хватка вела ее к красному носу. Предстояло сомнительное объятие, под счет костей, на глазах у шатенового Гадеса. Недопитый яблочный спирт слегка заколебался. Распространившись, табачная пыль вцепилась в различные ноздри. Рука Нанды, прелестная рука, грохочущая браслетами и солнцем, обхватила шею апатичного кучера. За этим последовал тяжелый шум, как будто высыпали на мешка песок. Престарелый церемониймейстер лежал на полу. Он не допил рюмки и не насладился последней понюшкой. Оказывается, она и сюда заходит. Впрочем, где же ей было искать исправного кучера, как не в этом буфете конечной станции? Так вот на кого он глядел сквозь муть стеклок! Не на Нанду, нет, не на Нанду. Вероятно, он вовсе не глядел. Просто, глаза его забыли вынести, как утром фонарь. Он долго сидел здесь, часа два, может быть, добрых три, слушая треск костяшек и хохот португальских колоний, он чинно сидел, поджидая коллегу, которому предстояло перевести красный нос, обрамленный лицом и грустью, в одну из укромных нор отгороженного участка.

А Нанда продолжала смеяться. Разъяснилась природа этого смеха — не демонстрация веселья, но тропическое бешенство злого высокого полдня, с белым фетишем над палей пальм и с ревнивой любовью в черных сердцах. Смех напоминая лесной пожар, оскал множества пастей, алфавит, неповторимый нашими подстриженными губами. Серая и глупая мечта, после романтических прелюдий, после притяжения к этому давно неживому носу, после холодного, но выразительного холода, сообщенного ее руке кучерской шеей, она все так же смеялась.

Кости игроков решительно столкнулись. «Одиннадцать»! «семь»! Гадес, сердобольный Гадес, с отвислым задом и с мудростью, налил тому, у кого одиннадцать, двойную рюмку рома.

А красноносый фигурант? Что ж, он мирно будет лежать за оградой и только в апрельские ночи, когда зацветут каштаны, когда грудь Нанды, розовая и серая, пойдет по рукам, как франки, как жизнь, только тогда тяжелая плита,

поставленная сердобольной племянницей из Медана, задрожит от любовной астмы.

Впрочем, об этом никто не узнает, кроме сторожа Агоды. Агода ж никогда не говорит. В кабачке «Свидание друзей» он ест солонину, заводит часы и смотрит под стол.

ИСКУССТВЕННАЯ НОГА «СЕЛЕКТ»

На тихом бульваре Монпарнасс, обсаженном старыми платанами, помещается по-своему знаменитое кафе «Ronde». С виду это — невзрачный кабачок, обычный парижский «бар», на окнах белые надписи: «кофе 10 с.», «пиво 20 с.» и т. п. Внутри небольшая уродливая зала с зеркалами и другая еще поменьше, с цинковым грязным прилавком, на котором подают желающим всяческие напитки. Словом, все крайне нелюбопытно и достаточно отвратительно. В Париже есть кафе просторные, светлые и с музыкой, излюбленные иностранцами, как «Riche», есть тихие, темные, в которых живет милый дух старины: «Regence», «Closier de Lilas»... Но «Ronde» ново, ей всего лет пять, в ней не играет оркестр, в ней дымно, тесно и грязно — чем же она знаменита? Конечно, публикой — публикой необычной даже для Парижа. Монмартрская богема давно уж стала лишь литературным воспоминанием. Если в кафе «вышки» еще встречаются юноши в бархатных куртках и широкополых шляпах, то это маскарад для сотни добрых буржуа, оплачиваемый хозяином кафе. С Монмартрского холма остатки богемы спустились на Монпарнасс и здесь, смешавшись с тысячами чужеземцев, создали новую разновидность: «посетитель Ротонды». По случайному капризу художникам полюбился этой плохонький кабачок, в нем они обосновались.

Как непохожа эта новая богема на прежнюю, знакомую нам по рассказам и наброскам верленовской эпохи! В той старой был свой бар, свой костюм, своя старая этика. Теперь — ни длинных волос, ни широких шляп, ни длинных, искусно обкуренных трубок. Французы с их традициями растворились в иностранном море. У каждого свой язык, но все говорят друг с другом на каком-то «волапуке», отдаленном подобии французского языка. У каждого свои нравы. Бездарные, но прилежные англичанки, стремящиеся постигнуть новую живопись, жаждущие из принципа жить

жизнью богемы, но в «Ротонде» напоминающие всегда дам «Армии Спасения». Краснощекие, как-то неумеренно здоровые скандинавы с их трезвым пьянством и честным разворотом. Крикливые испанцы, в плащах и в шляпах с ремешками, которые, мирно беседуя, так держатся, что соседи все время настороже, ожидая, кто из собеседников первый вытащит из кармана нож. Русские, пьющие запоем и в пьяном виде плачущие не то над печальным устроением мира, не то над пропитым франком...

Вся эта разношерстная банда толчется в «Ротонде» с 4 часов утра до 3 часов ночи (кафе закрывается всего на один час). Здесь они едят, пьют, потом дремлют, продают картины, набрасывают кроки и прокучивают после долгого безденежья полученную сотню так, что вся «Ротонда» говорит:

— Сегодня итальянец Камадани кутит... Одна сумасшедшая американка купила у него «nature-morte» за 100 франков!

Когда «сумасшедших американок» нет, упорно и дружно голодают, просиживая целые дни за чашкой кофе с крохотным хлебцем.

Кроме художниц в «Ротонде» целый ряд стрекоз — это не обычные «девицы с Буль-Мища», то натурщицы или «подруги» художников. Они любят этот беспокойный и веселый быт; позированием в академиях или в частных ателье они зарабатывают считанные франки, которые, впрочем, быстро раскидывают на шляпки или туфли. Они по влечению выбирают друзей и часто живут с ними годами, более склонные к верности и преданности, чем самые добродетельные супруги.

Я рассказал о «Ротонде» в «настоящем времени»; хотя все это было так давно — до войны! Еще 14-го июля 1914 г. все завсегдатаи «Ротонды» весело плясали на бульваре Монпарнасс, а через две недели разлетелись кто куда, как стая птиц, вспугнутая выстрелом. Теперь «Ротонда» вновь полна

— многие иностранцы вернулись в Париж, вернулись и покалеченные французы, наконец, все ее бывшие посетители, теперь военные, в дни отпуска спешат на старое место, Словом, хоть прежних кутежей нет и кафе закрывается в 10 ½ ч., но свободного столика вы не отыщете нигде, и хозяин не может пожаловаться на дела. Теперь, но в первые месяцы войны, в особенности в те недели, когда немцы двигались на Париж, «Ротонда» пустовала. Помню в сентябре 1914 г., заглянув как-то утром в кафе, я нашел и старого норвежца, которого не выгнали бы оттуда даже немецкие штыки, и двух натурщиц, подруг: мулатку Айшу и маленькую бургиньонку Люсьен. Обе девицы, с жадностью выпив кофе, принялись здесь же за шитье солдатских штанов.

Мулатка Айша всегда составляла одну из «достопримечательностей» «Ротонды». Матовый, коричневый тон ее кожи, окутанной пестрыми лиловыми или зелеными шальями, большие сверкающие белками глаза, чувственная улыбка прельщали многих. Как натурщица, она умела давать интересные позы, брала она за час 5 франков — для «Ротонды» цена небывалая. Сама она никогда не увлекалась, и к своим поклонникам относилась сухо, деловито. Но на самом деле была доброй женщиной, помогала бедным подругам советом и деньгами и охотно позировала для бедных художников за пустяшную цену. Восемнадцатилетнюю неопытную Люсьен она сразу заметила и взяла под свое покровительство.

Люсьен приехала в Париж совсем девочкой за два года до войны. Она сбежала из Дижона от чрезмерно строгого дяди. В Париже она поступила в «универсальный магазин» и шесть месяцев простояла за прилавком. Но на беду в нее влюбился заведующий и, встретив энергичный отпор, прогнал Люсьен. Через две недели, она, голодная и отчаявшаяся, в Люксембургском саду познакомилась со стариком-художником, который пригласил ее, как натурщицу. Немало слез пролила Люсьен, пока не преодолела стыда и не вошла окончательно в новое ремесло. Первые месяцы, с решимостью подростка, она боролась с заигрываниями и настаиваниями художников. Ей повезло, она не «свихнулась».

В «Ротонде», встретив мрачного «кубиста» Рамо, она влюбилась с первого взгляда и потеряла голову. Напрасно Айша учила ее, как приворожить к себе юношу, не высказывая своих чувств. При одной из ближайших встреч Люсьен, плача, призналась во всем Рамо. Художнику девушка также приглянулась, и неделю спустя Люсьен окончательно переехала в его мастерскую. Рамо был «кубистом» и мечтал, как вся «Ротонда», о фантастических меценатах; пока что — он рисовал ярлычки для какой-то фабрики духов, зарабатывая франков восемьдесят в месяц. На это жить вдвоем невозможно, и Люсьен продолжала позировать в академиях. Вели они образ жизни крайне скромный, ели раз в день в маленькой «сгемеги», вечером играли в «Ротонде» в шашки и каждую пятницу посещали синема. Люсьен обожала Рамо, и хотя больше ей нравились ярлычки, чем кубистические портреты, считала его гением. Одевайся Рамо чуть почище, не кури Люсьен толстых папирос — их все бы могли бы принять за молодую буржуазную парочку. О ходе романа и о счастье Люсьен знали все посетители «Ротонды».

Война застала Люсьен среди мечтаний накопить сто франков, чтобы в августе поехать на неделю к морю в Нормандию. На четвертый день мобилизации Рамо уехал в Безансон.

В любое время дня Люсьен можно было найти в темном уголке «Ротонды», молчаливую, с припухшими от слез глазами.

Для «стрекоз»-натурщиц настали трудные дни. Художники разъехались, академии закрылись, о прежней работе нечего было думать. Одни за гроши шили солдатские рубахи или мастерили «патриотических» кукол с чепцами эльзасок, другие, более выносливые, пошли на заводы точить снаряды.

Как я уже сказал, в сентябрьское утро я застал в «Ротонде» Айшу и Люсьен за работой.

— Ничего нет от Рамо!.. уж двадцать восемь дней, как он уехал...

Люсьен тихо плакала, а Айша, будто мать, ее утешала:

— Ему некогда писать... почта идет так долго... может быть, письмо затерялось, он скоро напишет... война скоро кончится, мне это сказал один офицер... он скоро вернется, твой Рамо...

Прошли недели — Ротонда вновь ожила. Люсьен все томилась без известий, плача над шитьем.

Раз в ноябрьский вечер она вбежала в «Ротонду», рас-терзанная, с шапкой, сползшей на бок и закричала сразу всем — посетителям, хозяину, лакеем:

— Рамо жив! Вот открытка! Он в плену! Ему отрезали ногу! Но это ничего! Я его люблю! Он жив!

Снова потянулись для Люсьен долгие месяцы ожидания. Она шила по-прежнему, откладывала гроши и каждую неделю отсылала Рамо посылку — сухари, шоколад, перевязанное все ленточками и заботливо завернутое в десяток бумажек. Иные из ее подруг, измученные безденежьем, пошли по дороге скользкой и стали продавать свои ночи приезжающим в отпуск солдатам. Но Люсьен возмущенно отвергала подобные предложения и до поздней ночи сидела с иглой. В воскресенье и в четверг она писала письма Рамо, здесь же в «Ротонде», иногда советуясь с Айшей.

— Как тебе кажется, — это нежно «мой маленький зверек» или «мой маленький птенчик»?

В марте месяце этого года, мы все узнали, что Рамо возвращается во Францию при ближайшем обмене инвалидов. Люсьен забросила работу, целый день суетилась и бегала по всяческому канцеляриям, вокзалам, чтобы узнать день приезда. С помощью Айши она смастерила новую шляпку и перекроила старое пальто свое. Всех тревожно спрашивала:

— Это идет ко мне?.. Я очень подурнела?.. Боюсь, этот бантик не понравится Рамо...

Наконец, Рамо приехал. На третий вечер он пришел в «Ротонду» еще более мрачный, похудевший, с палкой вместо правой ноги, неуклюже передвигая костылями. Молча

поздоровавшись со всеми, он выпил кружку пива и через полчаса ушел. Люсьен все время глядела на него робкими, вопрошающими глазами...

Больше Рамо в «Ротонде» не появлялся. А недели две спустя, сидя за соседним столиком, я слышал, как Люсьен, плача, жаловалась Айше:

— Он совсем переменился... я ничего не понимаю... Он говорит, что я вульгарна, что я не понимаю его живописи, что он ищет духовную подругу... Он так никогда не говорил раньше... Ах, Айша, я знаю, что он меня больше не любит!..

Айша подыскивала другие объяснения:

— Он болен — у него нет ноги. Он не привык. Ты ему слишком показываешь, что ты его любишь. Надо быть рассудительной, моя глупая Люсьен! Не подходи к нему, не разговаривай с ним. Заведи маленький роман с другим — вот хоть с испанцем Мадера — тогда Рамо начнет ревновать, и все устроится...

Но Люсьен плакала:

— Я ему не нужна. Ему нужна нога и еще духовная подруга.

Настало лето. Люсьен одна сидела вечером на террасе кафе, а девицы, среди других местных тем, обсуждали и разрыв между Рамо и Люсьен:

— Бросил... Он хоть без ноги, но герой — с ним пойдет всякая... А Люсьен дура...

Иногда Люсьен подсаживалась за мой столик. Обыкновенно она молчала, кратко отвечала на вопросы. Но как-то раз она подала мне газетную вырезку, спросив:

— Как вы думаете — это нога хорошая?

В объявлении говорилось о какой-то искусственной ноге «Селект», которая стоит 200 фр. и вполне заменит настоящую. Я ответил, что ничего не понимаю в этих делах. Люсьен со слезами на глазах сказала мне:

— Это для Рамо... только смотрите никому не говорите об этом... Ему нужна нога и духовная подруга... только это секрет...

Откуда Люсьен достанет 200 франков? — недоумевал я.

Через несколько дней все выяснилось. В «Ротонде» бывал в это время толстый, пожилой американец. Он занимался торговлей скота в Чикаго, и, по его словам, «приехал посмотреть Европу во время войны». Не знаю, видел ли он что-нибудь кроме «Ротонды», ибо просиживал в ней все время и даже переехал в ближайший отель, чтобы недалеко было ходить. Был он очень богат, денег, видимо, не жалел и девицы липли вокруг него. По очереди он кутил и с Айшей, и с толстой волоокой нормандкой Марго, и с танцовщицей из Мадрида Сильвией. Несколько раз он подходил к Люсьен, но девушка откалывалась от угощения и, если он настаивал, уходила.

Велико было изумление всей «Ротонды», кроме Айши и меня, знавших о ноге «Селект», когда в один вечер американец увез с собой в автомобиле с виду спокойную и даже веселую Люсьен.

— Вот тебе и Рамо...слава Богу, поумнела... — заявила Марго.

Четыре вечера подряд ни американец, ни Люсьен не появлялись в «Ротонде». На пятый же — американец приехал с какой-то чужой дамой, а Люсьен пришла одна, еще более грустная и с большими кругами вокруг глаз, сутулясь и не глядя ни на кого. Она отозвала в сторону Айшу и меня и попросила нас послушать — толково ли составлено письмо.

Дрожащим голосом она читала:

«В компанию искусственных ног “Селект”.

Пришлите одну ногу правую “Селект” за 200 фр., но чтобы можно было переменить г-ну Рамо по адресу... Но не пишите, от кого вы получили деньги, а скажите ему, что вы раздаете ноги для рекламы. Деньги при сем прилагаю. Люсьен Навэ.

P. S. Я не знаю мерки, но ведь можно всегда переменить, не правда ли».

Айша ворчала:

— Я бы дала ему ногу, но с условием, чтоб он повенчался со мной в мэрии, не иначе... 200 франков — ведь это не шутка!..

И, обнимая Люсьен с нежностью, которой я никогда не подозревал в ней, бормотала...

— Ты никогда не будешь рассудительной, моя глупенькая Люсьен!

А Люсьен плакала в платочек:

— Теперь у него будет нога... а духовную подругу он найдет... он ведь... гений!..

Париж.

ДЕМОНЫ И ВЗБИТЫЕ СЛИВКИ.

Несовместимость рабочего Нордена и буржуазного Вестена сбивается на правоучительную картинку или на агитплакат. Дело не в нищете, — по сравнению с еврейским или китайским кварталами Лондона, по сравнению с патетически звериным бытом английских безработных, берлинский Норден — пример сдержанности, если не благополучия. Норден беден до заплат, но не до лохмотьев, до голодной анемии, но не до спазм. Он молчалив, сух и стыдлив, с его хозяйками, педантично моющими меланхоличные стекла, и с кружной пива главы семьи, на которую без зависти благоговейно смотрят прочие домочадцы.

Но нигде, кажется, нет такой крикливой, такой наивной и вызывающей роскоши, как в берлинском Вестене. Глядя на этих дам, вываленных в золоте как котлеты в сухарях, на эти рестораны, таинственные как молельни, на эти притоны, построенные некоей новой разновидностью царя Соломона, забываешь, что находишься в самом центре вдоволь старой Европы. Такие сны должны сниться золотоискателю где-нибудь в Аляске или же нашему злосчастному нэпману, который не знает, как промотать тыщонку-другую среди глубоко идейных кабаре и заплеванных пивнушек.

Роскошь Вестена — не прихоть отдельных мотов и снобов, не антикварные уникамы, не патология Монте-Карло; нет, это быт целого класса. Ананасы или икра в окнах гастрономических лавок должны грудиться, подаваться оптом. Любая кондитерская обязана щеголять необычайными лампами или особой моделью кресел. Здесь нет места ни дешевым вещам, ни дешевым женщинам. Десятки тысяч людей здесь предаются роскоши аккуратно и настойчиво, как ремеслу.

Приезжий должен посетить кафе «Шоттенгамль» в Тиргартене. Это — не вульгарное питейное заведение, это — памятник эпохи. Если целая полоса германской истории ста-

новится понятной, когда видишь угрюмый камень «Аллеи Победы», — наши дни оставят после себя эту помпезную кофейную. В ней несколько этажей и много зал, на любой вкус: со старинным фарфором и с кубистическими фресками, с романтическими уголками и с американской деловитостью. Стены одной из зал сделаны из тонкого мрамора, пропускающего свет, они нежно розовеют как заря или как ладонь, поднесенная к огню. В других имеются журчащие фонтаны и люстры, похожие на Млечный путь. Вместо карточек на столах пухлые фолианты. Список напитков и яств напоминает энциклопедический словарь. На «А» значатся: «Ананас-Мельба», «Ананасовая бомба», «Арак», «Аква-вита», «Адвокат», «Анготура», «Абрикот-Бренди», «Анизетт», «Аллаш» и еще много иного. Здесь представлены все нации, как в Женеве, а чтобы нам, русским, не было обидно, кроме банальной «Водки» предлагается некий таинственный «Николашка».

Однако всего примечательней в «Шоттенгамле» уборные! Это — загадочный и полный значимости храм. Здесь можно взвеситься и покрыть лаком ногти. Для духовных потребностей здесь продаются газеты и книги. Романы Вассермана беседуют с душами посетителей. Юноши томно пудрятя и подводят брови. Здесь же рекламируются улыбками олеографических красавиц наилучшие марки резиновых принадлежностей. Отсюда можно выйти снаряженным и для идейных разговоров, и для любовных проказ. По патетичности и универсальности кафе «Шоттенгамль» напоминает средневековые соборы. Грядущие археологи будут ломать голову над раскопками, стараясь определить характер этого культа, — чему же поклонялись обитатели берлинского Вестена в эпоху, следовавшую за мировой войной?..

В кафе помещается человек триста, и оно всегда полно. Глядя на танцы, дивишься уродству ног, а также высокому качеству чулок. Еще выразительней руки, — они напоминают наивных зародышей и каменных валькирий. Пальцы едва-едва намечены; эти короткие отростки, однако, массивны и прочны как замки сейфа. Когда такие пальцы присасываются к весьма добротной спине, — это полно физио-

логической мистики и это в то же время тривиальная банковская операция. Что сказать о геометрии черепов, о жирах, о бритых затылках и мельчайшем бисере глаз? Мне трудно представить себе, что эти люди способны выдумывать, мастерить, создавать. Невеселое веселье как бы выходит за пределы кафе «Шоттенгамль», может быть даже за пределы своего класса, рождая истонное недоумение: умница-Марфа, почему же твой смех — только вращение граммафонного диска?..

Я где-то видел эти лица, эти пальцы, даже это кафе, — давно, когда оно еще не было выстроено. Я вспоминаю неторопливые вздохи дорогого альбома и юркий треск газетных листов, годы, когда все было внове: и костыли инвалидов, и расстрелы, и едва круглеющие животы богачей, переживавших тогда самое начало беременности, — мир, раскрывшийся передо мной, жестокий и органичный, грандиозная демонология или плевок, подвергнутый микроскопическому анализу, — рисунки Георга Гросса. С тех пор прошло несколько лет, мы разучились и недоумевать, и возмущаться. Гросс перестал быть «злободневным». Он остался однако художником своего времени, и конечно же кафе «Шоттенгамль» создано им.

Мы не можем жить без известной мифологии. Требуются мифы, требуются оптом, срочно, в любом виде. Человечество теряет голову от невыносимой голизны. Нельзя же удовольствоваться заездами Рабиндраната Тагора или амулетами-обезьянками на передках автомобилей! Что же, одни занялись изготовлением новых ангелов, всех мастей и покровов; в поте лица мастерают их и в Москве, и в Париже, и в Риме. Другие предпочитают выдумывать новых чертей, и так как я сам причастен к этой невеселой профессии, я встретился с Георгом Гроссом не только как с прекрасным художником, но и как со своим товарищем по цеху.

Я не ошибся, — у него светлые глаза ребенка, застенчивая улыбка и повадки мечтателя. Это поймут и школьники: человек, который вырабатывает лица и зады «Шоттенгамля», должен быть в жизни нежным младенцем, он должен любить чистое искусство, говорить задумчиво, задушев-

но, слегка рассеянно, как визионер, пить не пиво, но легкое веселое вино.

Творчество Гросса помогает нам разгадать глубокую значимость кофейни в Тиргартене. Наивно было бы воспринимать его рисунки исключительно как политическую или даже социальную сатиру. Конечно Гросс заклеил правящие классы Германии, конечно он искренне ненавидит убийц Либкнехта и Розы Люксембург. Однако сущность его демонологии глубже и постоянной. Его дьяволы имеют родословную. Они — не только социальный показатель. Они твердят о спертости воздуха и о тяжести сердец. Они рождены в темных закромах немецкой души. В этом их сила и их оправдание. Не только калеки, но даже таксы Гросса живут одной подпольной жизнью с таинственными банкирами, с семейственными проститутками и с маститыми убийцами.

Мир Гросса фантастичен и, скажу прямо, полон романтики. Неожиданно оголенные люди на улицах или в канцеляриях, с их бредовыми мясами, сродни Венерам Кранаха, деревянным Адонисам или Ледам Хильдесгейма, цветным стеклам, типографским гномам готического алфавита, узким улочкам, приземистым пивным, запаху горя и солода. Все это, конечно, уродство, но уродство, доведенное до совершенства, до того условного климата, где теряют силу наши вульгарные меры. Клиенты «Шоттенгамля» должны радоваться, — пусть этически они ошельмованы, эстетически они вознесены: им даны в прошлом портреты предков, а в будущем — дрожь внуков.

Можно, говоря о немецкой романтике и о немецкой любви, ссылаться на верхние этажи сердца, на светлость помыслов и на северную ясность глаз, на ставшую хрестоматийной «верность», на слезы Вертера и на лен кудрей, на лирику столь неземную, столь абстрагированную, что недоумеваешь, почему же на поэте — штаны, а на девичьих глазах — солоноватые выделения каких-то желез: ведь не люди это, но символы, звуки. Однако, не выходя все из того же «Шоттенгамля», я напому о других особенностях местной любви, тяжелой и мутной как теплое пиво.

В кафе «Шоттенгамль», в тысячах других кафе или кондитерских ежедневно с четырех до пяти или с пяти до шести встречаются влюбленные парочки. Они не целуются, не воркуют, не смеются, они не льют нежных слез. Они молчат, — утрюмо, настойчиво молчат. Их губы живут врозь, встречаются только пальцы, и пальцы безумствуют, до боли, до судорог сжимая друг друга. При этом влюбленные пьют кофе со сливками. Я сказал бы, что здесь любовь проходит среди легчайшей пены взбитых сливок и многопудового молчания.

Иногда в кафе имеются особые закоулки — «сепарэ», похожие на стойла конюшни. Там взбитые сливки стоят на двадцать пфеннигов дороже, но и там дело дальше вывихнутых пальцев не идет. Впрочем, порой все кончается банальным убийством, — мужчина душил женщину или перерезывает ей бритвой горло. Когда я гляжу на моих соседей, на этих почтенных людей, негоциантов, подрядчиков, биржевиков, у которых апоплексические затылки и белокурые ангелические подруги, я вспоминаю великолепный рисунок Гросса: труп женщины и убийца, аккуратно моющий в тазу руки.

Перенесенное в иное место, все это полно своеобразного пафоса. Здесь, среди анекдотически пышных уборных, это — только тупо и безысходно. Но тусклый огонек, мерцающий в этих зрачках, все же сильнее сверкания люстр. Он один опровергает басню о животном довольстве. Если бы история судила посетителей «Шоттенгамля», я мог бы выступить их адвокатом. Я сказал бы: «Да, у этих людей было все, мраморные стены и фонтаны, девять напитков на букву “А” и четырнадцать на букву “Б”, у них были текущие счета и готовые на все любовницы. Но они не знали простого человеческого счастья. Они ломали пальцы, неистовствовали, сидя в удобных креслах и возвращались домой если не с замаранными в крови руками, то с тяжелой зловещей одышкой». И я верю, что мои подзащитные получили бы «заслуживает снисхождения» истории, как получили его заточники Эскуриала или самоистязатели-персы.

КАФЕ

В Париже столько же кафе, сколько в Берлине сигарных лавок, а в Москве советских учреждений. Есть кафе для богатых и для бедных, для депутатов и для жокеев, для биржевиков и для проституток, для шоферов и для ломовиков, для поэтов и для мусорщиков. Каждый найдет кафе на свой вкус. У цинковой стойки можно выпить стакан кофе и съесть плюшку. Можно и опрокинуть рюмочку. Если сесть за столик, то торопиться не к чему — жизнь только-только начинается.



Посидеть, потолковать...

Заходят в кафе по разным причинам: по естественной нужде, чтобы разыскать в справочнике адрес, чтобы пого-

ворить по телефону, чтобы повидать приятелей, чтобы прочитать газету. Здесь же играют в карты, пишут письма и мечтают. Любители девушек караулят очередное счастье и, когда в кафе входит одинокая посетительница, заливчато крутят тощие усики. Любители вина, помня о характере заведения, пьют за рюмочкой рюмку. Рюмку приносят на блюдечке, блюдечко это не простое — оно показывает стоимость напитка. Возле такого любителя — гора блюдечек. При расплате официант подсчитывает сколько каких блюдечек.



Две кумушки

В Париже немало исторических кафе: здесь Бакунин пил кофе, а там Верлен тянул абсент. Политика и литература тесно связаны с этими заведениями. Французские символисты собирались в одном кафе, парнасцы в другом. Лакеи в таких местах знали не только марки ликеров, но и различные принципы стихосложения. Можно отыскать кафе,



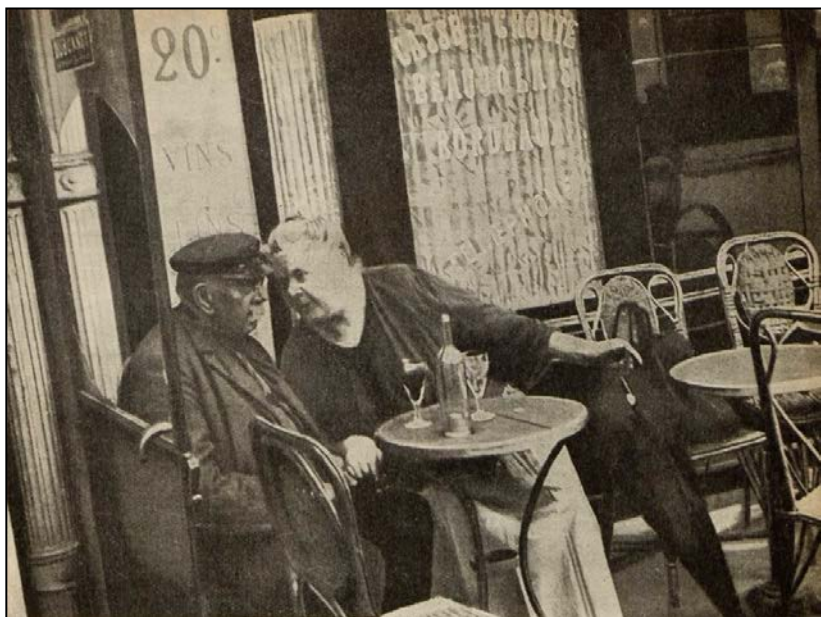
«Дорогой Поль, помнишь ли ты еще твои клятвы?..»

в котором писал свои статьи Камил Демулен. Были свои кафе у гедистов и жоресистов. Я знаю одно кафе возле Бельфорского Льва, в нем двадцать пять лет тому назад собирались русские большевики. На собрания приходил Ленин. Официанты подавали кофе с молоком или гренадин. Люди на непонятном языке о чем-то говорили. Никто не подозревал, что пройдет десять лет и об этих людях заговорит весь мир.

В кафе собираются эмигранты различных стран и партий. В одном кафе можно увидеть итальянских коммунистов, в другом русских белогвардейцев. Кафе в Пале-Рояле облюбовали кирилловцы; когда «император» проходит между столиков, они кричат «ура». Лакеи ничему не удивляются: это философы и скептики.

Вся современная живопись связана с различными вывесками кафе. До 1910 года искусство ютилось в кофейнях и кабачках Монмартра. Там поэты писали стихи и там имп-

рессионисты читали свои боевые манифесты. Потом художники перекочевали на Монпарнасс. Начинался кубизм. Пикассо и Модильяни немало вечеров просидели в кафе «Ротонда». Теперь и «Ротонда» отжила свой век — в нее заходят только иностранные туристы, тщетно разыскивая «гениев».



«Дюран отвалил ей десять тысяч...»

Однако, кафе Парижа это не политика, не литература и не искусство. Это, скорее всего, будничная жизнь, обыкновенные маленькие кафе на окраинах. Там говорят о том, что мастер Дюран — сволочь, что депутаты жулики, что Гарольд-Ллойд здорово карабкается по крышам, что масло снова подорожало, что Люси спуталась с Пьером и что газетам никак нельзя верить. Там все друг друга знают, все друг другу давно надоели и все же никак не могут друг без друга обойтись. Семейные происшествия там приобретают



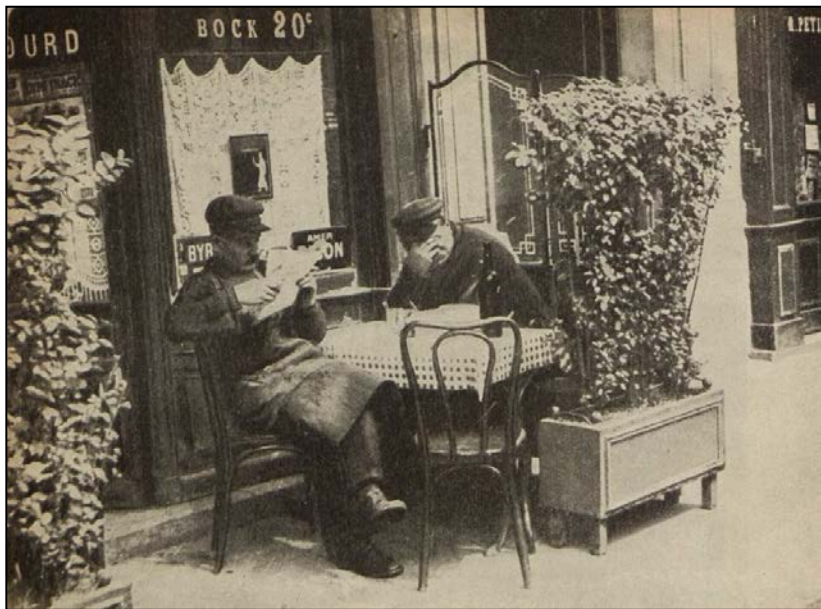
«Я это видел своими глазами...»

мировое значение, а мировая политика обсуждается с домовитостью и фамильярностью, как будто она зависит не от биржевиков или дипломатов, но от этих добродушных кумовьев.



Принес с собой булочку — дешево

Усталый человек входит в кафе, как в нирвану. В его ушах еще гул машин. Перед его глазами еще мелькают циф-



В обеденный перерыв

ры автобусов. Он закрывает глаза. Он не слышит споров. Голоса сливаются в гул — так шумит море. Море настойчиво шумит и оно шумит ни о чем. Усталый человек не думает, не мечтает, он погружается в какую-то сладкую полужизнь, и о втором, реальном мире ему напоминает только чашка кофе, которая греет его иззябшие пальцы.

Приложение

**ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ. Условные страдания завсегдатая кафе. Изд-во «Новая Жизнь». М. 1926. Стр. 158.
Тир. 5.000 экз. Ц. 1 р. 10 к.**

В письме к Боткину Белинский когда-то жаловался: «Природа осудила меня лаять собакой и выть шакалом, а обстоятельства велят мне мурлыкать кошкой, вертеть хвостом пописы». С Ильей Эренбургом приключилась как раз обратная беда: когда он начинает рычать, как футуристический барс, и разбрасывать молнии сатирического гнева, то он очень напоминает котенка, которому наступили на хвост, или глистика, раздавленного под тяжестью непосильного бремени. А бремя, которое возложил на свои хрупкие литературные плечи Илья Эренбург в книжечке «Условные страдания завсегдатая кафе», действительно чрезвычайно тяжелое и непосильное. На протяжении 158 страничек И. Эренбург задался целью изобразить буржуазию мексиканскую, английскую, американскую, французскую, немецкую, итальянскую и еще какую-то, национальность которой мне никак не удалось расшифровать. И не просто буржуазию, а, так сказать, всю электрифицированную душу последней — со всеми ее биржами, маклерами, акционерами, дисконтерами, банками, плантациями, рудниками, машинами, этуالياми, митральезами, депутатами, содержанками, котелками, цилиндрами, мини-страми, телефонами, взятками, крахами и прочая и прочая. Задача несколько трудная не только для Эренбурга. Но для осуществления этой сложной задачи И. Эренбург прибегает к довольно простому и портативному способу: объединяющим центром действия всего капиталистического мира он делает кабачок, откуда и производятся И. Эренбургом все наблюдения над человечеством. Я говорю: над человечеством, а не только над буржуазией, потому что в дальнейшем смелый эксперимент расширяется, и в сферу своего наблюде-

ния автор включает и Россию («Пивная «Красный отдых»).

Этому социально-распивочному способу изображения жизни нельзя отказать в известной оригинальности. Каждая страна и каждый народ получают, так сказать, под соусом национальной кухни и во вкусе национальных напитков. Лондон — сквозь рюмку виски, Рим — сквозь фляжку киянти, Берлин — сквозь бутылку пива и т. д. Само собою понятно, что в зависимости от напитков и характера кабачков меняются также и воззрения действующих лиц, меняются темпераменты, поведение и вся окружающая обстановка. Весь мир изображается, таким образом, И. Эренбургом с десяти точек зрения — десяти кабачков, в которые он вводит читателя: кафе «Ля Бурс» в Мексике, «Пти-Теремок» в Калифорнии, пивная «Красный отдых» в Москве, кафе «Флориан» в Венеции, «Берлинер Киндль» в Берлине, «Ротонда» в Париже и т. д. Естественно, что мысли и образы, рожденные в ресторанах, не особенно твердо стоят на ногах, и что писателю, прибегающему к сгущенно-кабацкой образности, нельзя обойтись без сгущенно-импрессионистского стиля.

Импрессионизм, как известно, стремится к мгновенности, к вспышке, к резкой оторванности. В живописи — это эскиз. В философии — афоризм. В литературе — новелла, лирика, анекдот. Повсюду — это яркие красочные пятна, дробление на «миги», резкие контуры, бессвязность, прерывистость, случайность. Но Илья Эренбург оказался слишком горячим импрессионистом, и его кабацкие образы превратились в ряд пляшущих, скорченных, уродливых и не только, бессвязных, но совершенно бессмысленных слов. Я беру первое попавшееся место, далеко не самое колоритное:

«Кто прогадал? Воспитанник румынского ешибота или бутылочный любовник? Розовый кукиш или стекло? Оба просятся в еврейский анекдот, для оживления дремлющих над яичной скорлупой пассажиров. Лейзеру Кравцу следовало бы переждать, может быть, переехать в другой город...» (стр. 135).

Раскрываю на новом месте:

«Есть люди, которые падали. И сладчайший Иисус. Он

пахнет одеколоном. Длинноглазая смерть биссирует непристойности, скрепляя их запахом ладана и пота. Спой, Кики! Мы знаем все. Мы ели суп с сыром. Мы читали копенгагенские газеты. Датчане тоже за неоклассицизм. Датская крона сегодня 3.40. У натурщиц шелковое белье и больные почки. Спой, Кики! Ты продаешь бумажные шарики, зеленые и красные, ты хорошо поешь, узкоглазая смерть...» (стр. 127).

Беру наугад еще одну страницу:

«Это — сквозняк двух враждующих светов, точность шестнадцатисвечного логоса, несовместимого с кудластой псиной дня. Нерасчесываемый колтун человеческой совести лезет под руку. Различные вокзалы оголтелостью носильщиков и катастрофическими гудками подманивают вечно опаздывающих. Шаги из угла в угол измеряют уже не метры жилищной площади, а года» (стр. 26).

Таким бессвязным набором слов переполнена каждая страница. Автор делает вид, будто он хочет этим сказать, что вся современная культура не что иное, как словесная накипь, пивная пена, которую ему, Илье Эренбургу, ничего не стоит сдуть, как пылинку, с лица земли — вместе со всеми Рафаэлями, Кантами и Дантами. Говорится это не прямо (кто же теперь станет открыто подавать такое перегретое футуристическое блюдо?), а с легкой усмешечкой, с иронической ужимкой:

«Из глиняной кружки выползает голый младенец с улыбкой преждевременного Канта. Подобно кенигсбергскому плуту, он склонен утешаться звездами наверху и разумом внизу. Звездами? Да, конечно, их немало, хоть и называется кризис топлива, этих ручных, газовых или электрических — звезд, окружных поездов, звезд — конфекционных или кино, наконец, родительских пивных. Что касается разума, то в виде карманного мультипликатора (прочный переплет под крокодиловую кожу), он общедоступен» (стр. 96).

В таком же духе и все остальные иронические парадоксы и сатирические размышления Ильи Эренбурга:

«Преждевременная импотенция перерождается в ход безотносительных рифм» (стр. 126).

«Лампа родила семейное право и сорок томов Чарльза Диккенса» (стр. 25).

«Иголки профессиональных танцовщиц могут штопать чулки и души» (стр. 27).

«Татарский темперамент напоминает охоту на лам возле Амазонки, а также запах ладана и пота» (стр. 30).

А вот образцы философского раздумья:

«Семейное счастье — скромная отрывочка чересчур постного моралиста» (стр. 50).

«Светила многих глаз, помноженные зеркалами на бесконечность, потребовали философических восторгов» (стр. 104).

Есть еще глубокомысленнее. Так сказать, философская ирония Ильи Эренбурга «помноженная» на жутко-мистическое глубокомыслие Андрея Белого:

«Ей снился всегда орех. Как будто в этом не было ничего страшного. Орех, ну, орех. Но нет же, он был страшен в своей обособленности и бессмысленной значимости, орех вне всего, даже без щипцов, орех, как таковой, точный и четкий орех» (стр. 103).

Не чужда Илье Эренбургу и горькая ирония:

«Зачем вызывать боль деликатной части тела, соединяющей рот с желудком, а язык с бумажником?» (стр. 78).

Следует вообще заметить, что люди с толстым бумажником или так называемые баловни валюты всегда вызывают в И. Эренбурге некоторую повышенную отзывчивость. Я этим не хочу сказать, будто мысли о валюте приводят у самого И. Эренбурга в особенно чувствительное состояние ту «деликатную часть тела», которая «соединяет язык с бумажником». Но почему-то в каждом из десяти описанных И. Эренбургом кабачков появления баловней валюты немедленно собирает вокруг них людей, готовых блудливо лгать для них и пером, и кистью, и духом, и телом. На муках этой последней профессии, т. е. на женщинах, которые лгут своим телом, И. Эренбург останавливается в своей книжечке с исключительным постоянством. Уже на первых 60 страничках мне удалось насчитать свыше 110 выражений, повторяющих в разных комбинациях слова: объятия, двуспальная

кровать, коготка и деньги. Так что всю книжечку И. Эренбурга было бы правильнее, пожалуй, озаглавить: «Амур — стиль модерн, или Мопассан и Бокаччио в пересказе для за-всегдатаев кафе».

Но пересказ, надо сказать правду, получился у И. Эренбурга вымученный и скучный. Вряд ли у кого другого, кроме лиц профессионально-обязанных, хватит терпения дочитать до конца это бессвязное пустословие с такими развязно-бесильными потугами на ироническое глубокомыслие и парадоксальную хлесткость. Эту, выражаясь стилем самого И. Эренбурга, «нескромную отрывку» чересчур запоздалого футуризма.

Л. Войтоловский.

Примечания



«Он может жить без кофе, но не может — без кофе», — писал об И. Эренбурге в книге «Жизнь на фукса» (1927) Р. Гуль¹. Образ Эренбурга, восседающего в кафе с трубкой в зубах, стал в двадцатые годы шаблонным и в Советской России, и на Западе. Своему «кафейному» способу существования, как и трубкам, Эренбург посвятил новеллистические циклы «Тринадцать трубок» и «Условные страдания завсегдатая кафе». Но если первая книга полюбилась читателям и выдержала целый ряд полных и частичных переизданий, второй была суждена иная судьба.

Замысел «Условных страданий» впервые упоминается в письмах Эренбурга в середине января 1925 г.² Не исключено, что какие-то смутные идеи появились и ранее — ведь еще в 1922 г. Эренбург оформил очерки о Германии в виде цикла «Письма из кафе»,

¹ Гуль Р. Жизнь на фукса. М.; Л., 1927.

² См. письма к Е. Полонской и М. Шкапской от 13 янв. 1925 (Эренбург И. Дай оглянуться: Письма 1908-1930. М., 2004. С. 387-388). Далее: Письма.

вошедшего в книги «Белый уголь или слезы Вертера» (1928) и «Виза времени» (1931). Новелла «Бистро на улице Монжоль» и вовсе восходит к рассказу «Искусственная нога “Селект”», опубликованному в 1917 г.³

В дальнейшем Эренбург аккуратно извещал своих корреспондентов — Е. Полонскую, В. Лидина, Е. Замятина, М. Слонимского и других — о ходе работы над книгой. Чаще всего он именовал свое сочинение «Гид по кафе Европы», но взвешивал и другие заглавия: «Условные рефлексы различных кафе», «Условный рефлекс кафе», «Взволнованность воска и стекла»⁴. Последнее относилось, видимо, к планам издать книгу «в виде гида с фотографиями (трюкованными — восковые фигуры)», о чем Эренбург сообщал В. Лидину⁵. Наиболее подробно писатель раскрыл замысел книги в письме к Е. Замятину от 4 апреля 1925 г.:

«Пишу сейчас рассказы. Нечто вроде “Гида по кафе Европы”. Поворот первый — романтизм. Это воздух Европы. М. б., приближение к юбилею 30-х годов. Здесь машины, даже налоги, все полно сдвига пропорций, этой предпосылки растрепанных фантастов. Поворот второй — стиль. Им (в России, конечно) занимались лишь народники, фольклористы, внуки Лескова и коллекционеры унтер-офицерских цидулек. Мы, “западники”, не достигли сплава языков “литературного” и “газетного”. Над этим я бьюсь. Не знаю, выйдет ли что <...> (выходит трудно и малопонятно даже — я, вздохнув, отерпелся от ясности)»⁶.

В середине апреля книга, включившая 11 новелл, была завершена⁷. Некоторые новеллы Эренбургу удалось напечатать в советской прессе — «Кафе “Олимпия”» в «Новой вечерней газете» (1925. 12-13 апреля) и «Красной ниве» (№ 38. сентябрь), «Кондитерская Саротти» («Новая вечерняя газета», 28-30 июня), «Кафе “Ля Бурс”» в журнале «30 дней» (1925. № 9), «Пивная “Красный отдых”» в «Новой России» (1926. № 1). Однако все попытки издать книгу целиком оста-

³ Историю о натурщице, ценой своего тела купившей раненому на войне возлюбленному искусственную ногу, Эренбург приводил и в одном из военных очерков, вошедших в кн. «Лик войны» (1924).

⁴ Письмо к Н. Тихонову от 31 марта 1925 (Письма, с. 416).

⁵ Письмо от 25 февр. 1925 (Письма, с. 401).

⁶ Письма, с. 418-419.

⁷ Письмо к М. Слонимскому от 18 апреля 1925 (Письма, с. 427).

вались бесплодными в связи с тяжелым положением русского издательского дела на Западе и цензурными ограничениями в СССР. Лишь в начале мая 1926 г. «Условные страдания» наконец вышли в одесском издательстве «Новая жизнь»; по неизвестной причине, из книги был исключена новелла «Свидание друзей» — самая автобиографическая из всех⁸.

Критика по обе стороны границы встретила книгу в штыки. «Книжка получилась невразумительная и для тех, кто успел оценить Эренбурга как острого обличителя послевоенной Европы, она ничего, кроме огорчения, не принесет. Книжку рекомендовать никому не следует», — утверждал журнал «Книгоноша» (1926. № 19). В «Ленинградской правде» «Условные страдания» разнес М. Блейман: «Мир рассматривается Эренбургом через скверно вымытый трактирный стакан. Недаром все происходит в кафе. Это стержень книги. Эренбургу не о чем писать. Поэтому язык его претенциозен и безвкусен, темы штампованы. “Условные страдания” — услужливая и легковесная макулатура, всецело рассчитанная на мещанина» (1926. 23 июня). Особенной разухабистостью отличалась рецензия Л. Войтоловского в журнале «Печать и революция» (1926. Кн. 8); в ней критик местом издания книги обозначил Москву, брюссельское кафе «Ля Бурс» разместил в Мексике, парижский «Пти Теремок» — в Калифорнии, а самого писателя сравнил с «глистиком, раздавленным под тяжестью непосильного бремени». В варшавской эмигрантской газете «За Свободу» Е. Шевченко выступил с заметкой «Кофейный Вольтер»:

«Вышла новая книга Ильи Эренбурга под откровенным названием — “Условные страдания завсегдатая кафе”. Заглавие это, а затем и содержание книги подтверждает уверение Эренбурга, что свои романы он пишет в кафе. <...> Новая книга Эренбурга не стоит, конечно, особого внимания, но если по слову Эдмонда Жюльо Эренбург это — “Вольтер наших дней”, то книга завсегдатая кафе может служить лишь доказательством того, что либо на-

⁸ О ее героине, мулатке Нанде, Эренбург писал Е. Полонской 25 марта 1925 г.: «Я почти влюблен в абсолютнейшую дуру (чем могу себя несколько утешить), в мулатку “Нанда”. Когда она смеется, это лишено смысла, физиологично, больно ушам: зоологический сад снаружи <...> Юбки носить она не умеет» (Письма, с. 411). В этом же письме Эренбург выражал опасения, что его книгу сочтут подражанием модному в те годы П. Морану.

ши дни, действительно, так бесконечно похабны, что не заслуживают другого “Вольтера”, либо Эренбург так похабен, что по силе этого своего качества может быть назван своеобразным Вольтером или даже Ньютоном. Несомненно бойкие заметки, составившие книгу, годятся для бульварной газетки, но собранные в книгу они характеризуют Эренбурга только как “кофейного Вольтера”»⁹.

Книга «Условные страдания завсегдатая кафе» не переиздавалась в России почти 80 лет и только в 2001 г., с добавлением новеллы «Свидание друзей», была включена в сборник ранней прозы И. Эренбурга, составленный Б. Фрезинским¹⁰.

В нашем издании книга дополнена другими «кафейными» текстами Эренбурга — это рассказ «Искусственная нога “Селект”», посвященный знаменитой «Ротонде», и очерки «Демоны и взбитые сливки» и «Кафе».

Все включенные в книгу произведения публикуются по указанным ниже первоизданиям. Орфография приближена к современным нормам. Исправлены очевидные опечатки. В текстах сохранена авторская пунктуация, а также написание имен, фамилий, топонимов и т. п. Фотографии, иллюстрирующие очерк «Кафе», и подписи к ним принадлежат И. Эренбургу. На с. 135 — И. Эренбург в кафе «Ротонда» (фрагмент рисунка А. Гоффмейстера).

Условные страдания завсегдатая кафе // Эренбург И. Условные страдания завсегдатая кафе. Одесса: Новая жизнь, 1926.

Свидание друзей // Огонек. 1926. № 28.

Искусственная нога «Селект» // Лукоморье. 1917. № 6.

⁹ Цит. по: Попов В., Фрезинский Б. Илья Эренбург в 1924-1931 годы: (Хроника жизни и творчества в документах, письмах, высказываниях и сообщениях прессы, свидетельствах современников). СПб., 2000. С. 154-155.

¹⁰ Эренбург И. Необычайные похождения. М., 2001.

Демоны и взбитые сливки // Эренбург И. Белый уголь или слезы Вертера. [Л.], 1928.

Кафе // Эренбург И. Мой Париж. Текст и фот. И. Эренбурга. М., 1933.

Войтоловский Л. [Рецензия] // Печать и революция. 1926. Кн. 8, декабрь.

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.